

Сергей
АВИЛОВ

ВЕРА

ЛЮБОВЬ

НАДЕЖДА

Сергей АВИЛОВ

В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)

«Геликон Плюс»

2016

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Авилов С.

В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь) / С. Авилов — «Геликон Плюс»,
2016

ISBN 978-5-93682-691-7

Начинающий писатель и несостоявшийся музыкант из глубинки приезжает покорять Северную Столицу. За короткое время проживает и «войну» (нападение на улице), и нищету, и любовь (актриса, самая настоящая), и успех (издает книгу). Но город не принимает героя, он вынужден срочно менять что-то в своей новой жизни. Или меняться самому. Динамичность и изысканная простота изложения заставляют читателя сопереживать героям с первых страниц книги.

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-93682-691-7

© Авилов С., 2016
© Геликон Плюс, 2016

Содержание

Оса	6
Катя	16
Капитан ближнего плавания	23
Минута на сборы	34
Северный поезд	38
Другие квартиры	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Сергей Авилов
В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)

© Авилов С., текст, 2016.

© «Геликон Плюс», макет, 2016.

Оса

К Осе я отправился утром. Когда немного оправился от его ночных звонков. Он позвонил мне часа в два... может, в три. В буквальном смысле снял меня с девушки. Девушка была постоянная, поэтому за часами ни я, ни она не следили. Позвонил и – я сразу заметил, каким тихим и унижительным шёпотом, – попросил:

– Принеси... – Оса вымаливал выпивку. Бухло. Керосин. Ему было всё равно – в жидкости должен был содержаться этанол.

– Принеси... – повторил он просьбу. Повышать голос выше шёпота у Осы, видно, не было сил.

– Оса, – после первого такого звонка я ещё пытался ему что-то объяснить. Для меня Оса не пустое место.

– Оса, – говорю, – денег на тачку сейчас нет (я лгал – деньги, конечно, были)... Пешком до тебя минут двадцать по ночному М-ску. Но это не главное, пойми, Оса. Это не главное. Главное, что у меня нет денег на выпивку.

Ударяя на последние слова, я как бы заявлял Осе, что деньги – деньги есть. Но они не на выпивку, нет, Оса.

– Пожалуйста! – Оса зарыдал в трубку. Как-то чередуя «кхе» и «аха»: – Кхе-аха, Кхе-аха... – Потом яростно раскашлялся, из него выходило перекуренное с переплаканным, и опять: – Кхе-аха. – К этому стало добавляться плаксивое «ы-ы».

– Оса... Осинушка... Спокойнее, – это подвывание от Осы я слышал впервые и, почувствовав, что подвывание не умолкает, брякнул вдруг с раздражением: – Да будь же ты мужиком, Оса!

Оса бросил трубку. Бросил с воем, но Оса мужиком был.

Я сидел на постели, голый, глядя себе под ноги. Что-то нехорошее с ним. Осой. Тем временем Катя, пол-одеяла на себя натянув, окукливалась в ночнушку. Хана моему сексу. Она, понятно, «не любит моих друзей за то, что они приносят портвейн». Эта цитатка даже приросла как-то к Кате, и я был не против. После двадцати пяти портвейн – это не только весело. Мне уже шёл 27-й.

– Оса, – пожаловался я ей, закулив.

– Я поняла, – закурила и она, дымом согнав с лица мешающий локон. – Бежим к Осе? – связвила.

– Да куда не бежим, – в темноте, когда не видно дыма, сигарета казалась невкусной.

– Нику-да мы не бе-жим, – протянул я ещё раз, шебурша волосы. И тут телефон снова ожил.

Оса.

– Поговори со мной. Мне страшно.

– Оса, ты меня, между прочим, с бабы снял, – ответил я ему игривым шёпотом.

– С Кати? – задал он максимально дурацкий вопрос.

А я ответил крутое, как мне казалось тогда, и постыдное:

– Неважно.

– Важно, Сережа, всё важно... – он плавал в каком-то своем разговоре, не говоря о том, что Серёжей вообще называл меня впервые. – Вот тебе сейчас что важно?

– Оса, – грубо оборвал его я; я знал, что такие разговоры могут продолжаться до утра.

– Всё-всё, – испугался он того, что я положу трубку. – Мне сейчас важно то, что мне никак не встать... Ноги что-то не ходят, – и резко меняя тон: – Принеси...

– Я не понесу сейчас, я приду утром, Оса! Подожди ты часиков пять-шесть, – я ещё пытался укротить рождающееся бешенство.

– Принеси, я подохну, принеси, подохну, слышишь? – фоном послышался сухой всплеск осколков, очевидно, пустой бутылки, в отчаянии хлопнутой Осой об пол или стену.

– Я не пойду, – устало ответил я. – Займи у соседей.

Говорил я глупость. Оса жил в частном секторе. В лучшем случае его облаяли бы местные волкодавы, в худшем – выстрелили бы из охотничьего ружья в нетрезвого человека.

Оса жил один. Мать его года три назад убило огромным рекламным щитом, сорванным со своего места порывом шквального ветра. Помню похороны без слёз. Одинокий, серьёзный Осин. После официальных похорон мы, человек пять, сидели на берегу реки. Естественно, выпивали. И вдруг мне представилось... нет, подумалось... это не объяснить. Я чуть-чуть не сказал Осе, что мама его стала... почтовой маркой. Я обмер. Таких глубин цинизма в себе я не то чтобы не находил – даже искать не пытался.

Я положил трубку. Снова сидя закурил.

– Выключи телефон, – устало потребовала Катя. Я её боялся и поэтому выдернул шнур. А боялся я потому, что отбил её у более сильных и богатых. Боялся, естественно, в пределах разумного. К сожалению, примерно так же, как и любил.

Мы забрались под одеяло, и она, наверное, быстро уснула, а я боролся с раздражением к Осе. Было темно и тихо. И какая-то моя часть радовалась, что утром похмельный Оса будет радоваться тому, что принесу ему я.

Я смог проигнорировать даже полусонные, разнеженные сном прелести Катерины. Она любила с утра медле... О чем я опять?

Я попил воды из носика чайника, оделся наугад – зима в М-ске – явление непрогнозируемых ежедневных температур. Было слякотно и ветрено, посему я надел ветреную куртку и слякотные ботинки. Прихватил пакет.

«Жди, Оса, жди», – думал я, наполняя в магазине пакет звенящей надеждой.

От автобусной остановки до дома Осина – минут десять ходьбы. Частный фонд М-ска просыпается медленнее центра. По длинной грунтовке, ведущей к его дому, пролетит, не снижая скорости перед встречей с пешеходом, чей-то дорогой автомобиль. Или проедет полная адыгов или армян «копеечка», непременно обдав тебя чем-то из-под колес. Прохожих мало – в это время почти что и нет. Лишь медленно открывает изнутри лавку с продуктами, пристроенную к дому, пожилая армянка. С ней, как и с работающей в лавке дочкой её, у Осы тёплые отношения. Это я знаю.

Дом Осы – второй за поворотом. Я уже вижу его низенькую крышу и от предвкушения лицезреть Осу громче позвякиваю тарой.

Оса не закрывает калитку на запор. Оса и дверь-то в дом не всегда запирает. Я толкнул калитку, поднялся на крыльцо. В доме миротворческая тишина.

– Оса-а, – весело пропел я. Нет ответа.

«Спит, бедолага», – подумалось мне, и я толкнул входную дверь.

В прихожей было темно и ветрено. Да, именно ветрено – как будто, уходя, Оса забыл закрыть окна. Потом я в чем-то кроме догадок запутался совсем. Это был скотч. Местами перекрученные полоски скотча хаотично валялись под ногами, липли к ногам. Как будто кто-то спешно распаковывал большие картонные коробки. Тогда где же сами коробки? Я опасливо стал отлеплять полоски от подошв, но они липли снова и снова. Так, отлепляя эти полоски, полусогнутым, я вошёл в комнату. И увидел Осу. Он лежал на полу. Его ноги (меня поразило заметное даже в полутьме пятно мочи на его брюках) лежали так, как будто бы Оса хотел убежать. Скрюченная рука торчала из-под кухонной клеенки, за которую, убегая из этого мира, он успел схватиться. И ещё совершенно чёрный... или совершенно синий кусок лица. Где-то возле издевательски светлых Осиних волос. И опять скотч...

– Оса захлебнулся, – испуганный язык прилип к нёбу, получилось тихо. И безжалостно. Произнёс я это затем, чтобы просто почувствовать реальность, чтобы прийти в себя. Чтобы не бояться. Хотя чего?

Я опустил на пол пакет с бутылками. Опасливо подошёл ближе, мимоходом подумав о том, что неплохо бы вызвать «скорую». Хотя «скорая» или «неспешная» – Осе уже все равно, это было понятно.

Звуки поддавались с трудом. Каждый сделанный шаг, шорох пакета, несколько слов казались чужими звуками в этом доме темноты и ветра. Это позже, когда сюда нагрянут санитары и сонная, ленивая милиция...

Мне даже не пришлось накрывать его лицо – убегая, Оса сделал это сам, оберегая меня от ненужных подробностей. При этом оставив кусочек лица – для того чтобы у меня не было сомнений. Ах, Оса...

Я нащупал сигареты, сделал десяток оглушительных шагов назад, к выходу... Спустился с крыльца, увитого высохшим виноградом. Закурил.

Конечно, мы предполагали, чем это всё закончится. Потом скажут: «Неожиданная смерть»... Ай, да ну! Какая неожиданная – очень даже ожидаемая. Если последний год Оса пил так, что даже навещать его было делом непростым. В чём-то героическим. Придешь с бутылкой – он быстро и тяжело пьянеет и засыпает. Без неё – злится. И только в моменты просветления Оса – вымытый, выбритый, бледный – говорил: «Брошу. Клянусь, брошу». Вот, бросил. Теперь я в этом абсолютно уверен.

Когда я переехал в М-ск, Оса был для меня находкой. Хотя всё началось немного раньше, Оса просто стал удачным продолжением того, чего мне хотелось. А ещё точнее – чего мне не хотелось. А не хотелось мне – работать! Мне безосновательно, но каким-то шестым чувством казалось, что я рожден для других, менее унижительных занятий. Повторяю, особых оснований для этого не было. Было лишь щемящее чувство, что я делаю что-то не то. Ни для кого. И не для себя в первую очередь.

Я с успехом окончил среднюю школу в Краснодаре. Нормальное отсутствие троек – тоже успех. Потом поступил в КубГУ. На факультет филологии. Я-то знал почему – я любил читать, любил слова... Многие же преподаватели считали, что любовь к словам – аналог лени. То есть нелюбовь к делам. К третьему курсу мы друг в друге разочаровались. И каждый пошёл своею дорогой... В армию я не попал. Полученная в детстве травма колена во время игры в футбол неожиданно оказалась козырем при прохождении медкомиссии. Правда, колено болит при перемене погоды и неприятно щелкает при резких сгибах. Дорога в университет сменилась дорогой на службу гражданскую. Не имея образования, тяжело найти достойную работу даже в большом городе. Поэтому сперва я довольствовался недостойными. Года два отстоял охранником в магазине одежды. Потом писал статьи в рекламном издании. Находясь при этом в офисе с девяти до шести. И испытывая одинаковое отвращение к обоим этим занятиям. Причем, будучи охранником, я не ощущал всей бессмыслицы этих занятий, оттого что был младше. С каждым годом ненависть к такого рода труду нарастала. Когда издательство благополучно развалилось и я оказался безработным, я почувствовал себя счастливым. Я отдалаю поиски работы и существовал на сущие копейки. Какой восторг – просыпаться зимой в сделавшихся уютными сумерках, варить кофе на крошечной кухне. Никуда не спешить. Когда сущих копеек осталось совсем немного, надо было что-то придумывать. Меня пугала не сама перспектива труда – меня отвращало отношение людей к труду. Людей, которые могли стать моими коллегами и, что хуже всего, начальниками.

Я с тоской сходил на пять или шесть собеседований. Хотя всю их бесперспективность я понял на третьем... Я не был похож на маленького человечка, способного безропотно выполнять приказания, не переспрашивая и не ставя эти приказания под сомнения. Я не был похож на винтик – я был вполне себе боевой единицей. Инструментом. И на маленькие должности

меня активно не брали. Для должностей больших у меня не было знаний. К тому же работодатели были тоже не без изъянов в голове. Кому придет в голову, например, приходиться на работу за час до её начала и совместными шутками поднимать себе настроение, которое естественным образом поднимет процент проданных утюгов, чайников... Чего угодно... Однако было! Меня выводили из себя все эти менеджеры, супервайзеры, хайруллеры... Они говорили: «Наша компания...» А мне хотелось спросить: «Какая она ваша-то, а?» Становилось тоскливо. Я научился питаться макаронами без мяса и масла. С томатным соусом «Краснодарский». Просить помощи было не у кого... Поясню: отец мой попал под автобус, когда мне было года три. Я не стану говорить, что этого я не помню. Я просто не знаю, что из того, что осталось в голове, – правда, а что пришлось дорисовать воображению. По крайней мере, воображение не особенно-то резвилось – картина отца получилась законченной и приятной. То же говорила и мать. Отец был человеком мягким. Не пил, даже не курил. Черта, как мне кажется, показательная. Погиб – слишком по-житейски... Перегруженный пассажирами автобус, скользкая дорога... Несчастный случай.

Я всегда приписывал отцовские черты не тому человеку, что остался в памяти. Отцовские черты я приписывал фотографии, стоявшей в материнском серванте.

Мать. Я осваивал то ли восьмой, то ли девятый класс, когда я впервые увидел его – Николая. Он так и представился – Николай. И мне понравилось, что без всяких там «дядь». Просто – Николай. Ну он и был – Николай. Ни колай, ни дворай... Пел в театре «вторым басом». То есть самым низким. Когда его голос в спектакле был не нужен – играл второстепенных персонажей. Жил в какой-то общаге, сам же был... дай бог памяти. Из Чимкента – города в Казахстане. Хотя русский. Пил, пытаясь совместить в себе пьяницу и порядочного человека. Хотя пил как-то весело. Пил и пел... Плохо было одно – мать тоже хотела петь. А выбрала второе, менее энергозатратное его увлечение. На фоне своего пьянства Николай и не заметил, как пристрастил к этому мою мать. Он считал, что, пока не появилось похмелье, тревожиться не о чем. Нет, они жили мирно, не ссорились... Даже меня – любили. Да и я уже не нуждался в чрезмерной опеке.

Однажды Николай пошёл за пивом в три часа ночи. Или утра... В шесть его нашёл дворник – почти что возле парадной. При нём не было денег и документов. Самое страшное, что ему уже было всё равно. Какой-то проходимец – или их было много – проломил ему голову. До приезда врачей Николай пролежал на изумрудной весёлой траве с лицом, накрытым газетой. Ветер изредка приподнимал её уголок. Наверное, ветру хотелось её перелистнуть.

У матери оставалось два пути – бросить пьяное дело совсем или бросить трезвое. И тоже совсем. Она опять выбрала путь менее трудоемкий. И при этом максимально короткий. Похоронив её, я подумал, что больше хоронить мне некого...

Макароны подходили к концу. Соус «Краснодарский» сделался роскошью. Перспектив, казалось, не было. Оказалось – были. В М-ске, древняя, как и сам город, проживала родная сестра моей бабушки по материнской линии. Детей у неё не было. Мужа – не было уже. Последний раз я видел бабку на похоронах матери. До этого – раз пять за всю жизнь. Древняя, как и сам город, она оказалась не вечной. Её смерть и была моей перспективой. Хотя, казалось бы, само слово «смерть» вообще отрицает какие-либо перспективы.

В М-ске бабка оставила мне однокомнатную квартиру. Я тут же хотел её продать. А потом подумал: «А не сменить ли мне грязную мыльную воду Кубани на другую, м-скую реку?» И сменил. Квартиру в Краснодаре я сдал знакомой семейной паре. Проветрил бабкину квартиру от больничных запахов лекарств и выкинул все бабкины вещи. На скопленные ею деньги поклеил обои. Взял с семейной пары задаток и отметил новоселье, сидя в пустой, прохладной бабкиной квартире.

А потом у меня стали появляться знакомые. Друзья и подруги. И среди них – Оса.

Я сидел на скамейке на берегу м-ской реки. Благостное безделье ещё являлось для меня главным удовольствием. Пил пиво, глядя на полноводную, медленную здесь реку. На деревья, набухавшие тяжёлыми, влажными почками. На дымчатые от нераспустившейся зелени холмы на том берегу.

– Водку будешь? – услышал я откуда-то сбоку. Голос был робкий. Таким голосом обычно просят, а не предлагают. Я обернулся. Даже скорее просто скосил глаза. Мне лень было обращаться на такие просьбы. У меня была какая-то маленькая лужица своих денег. То есть если бы я захотел водки...

– Н-нет, – ответил с раздражением. Он поймал меня в неподходящий момент. Медленная река текла. И текли медленные, оттого внятные мысли.

Скосив глаза, я сумел его рассмотреть: невысокий, слегка полноватый. С круглым и очень детским лицом. Хотя было ему лет, может быть, двадцать пять. В руке – пакет, в котором угадывалась бутылка.

Он, тяжело отчего-то вздохнув, приземлился на скамейку рядом со мной. Повисла дурацкая пауза. Мне захотелось уйти – мой сосед имел вид неудачника. Стоит немного поправить свои финансовые дела – и неудачники начинают вызывать раздражение.

Он молчал, держа пакет в сложенных на коленях руках, и тоже смотрел на воду.

– Красиво, – обратился он, не поворачивая головы.

– Ну да, – снизошёл я.

А он, словно схватившись за эти скудные слова, словно изголодавшись по собеседнику, заторопился:

– Я люблю сюда приходить. Здесь тихо... Сидеть и думать...

– О чем? – спросил я с усмешкой.

– О словах...

Оказалось, Оса пишет стихи. К тому же является рок-звездой местного масштаба. Даже имеет своих преданных поклонников. Оса с группой катаются по всему Краснодарскому краю с концертами, за которые, плюс ко всему, получают деньги. Оказалось, что клубы и небольшие концертные площадки с удовольствием принимают у себя Осу и его команду – Оса и его команда приносят клубам и площадкам деньги. Не обижая при этом и себя, конечно.

Мы выпили Осиную водку там, на берегу м-ской реки, потом продолжительно и расточительно гуляли в баре неподалеку. Оса воплотил в реальность то, что было моей мечтой – ведь это я, я писал стихи и песни. И тоже нередко думал... о словах.

Когда я приходил к ним на концерты, Осу было не узнать. Без куртки, в концертных одеждах, он оказался не полным – накачанным. Они играли серьёзную, не хулиганскую, как можно было предположить по Осе, музыку. Тексты Осы были даже изысканными... А я – я предложил ему несколько своих. Мне показалось не стыдным, если эти песни пел бы Оса.

И всё получилось. Теперь песни мы писали вместе – я и он. В группу я, конечно, не рвался. Мои музыкальные познания ограничивались самоучителем игры на гитаре. Но при этом я стал полноценным её участником. Я писал слова, договаривался о концертах... Получал деньги. То есть фактически работал.

И вот когда мы были уже на какой-то ступени популярности, у Осы начались запои.

Сначала это было даже смешно. Оса приходил на репетицию растрёпанный и понурый, как мокрый, замёрзший воробей. Жадно глотал пиво из наших бутылок. Тяжело вздыхал. Жаловался на «мотор»... Потом резко веселел... Пел, периодически отлучаясь в уборную. Через некоторое время я обнаружил в бачке унитаза початую «маленькую». Оса стеснялся пить при нас. Я не стал рассказывать об этом Жене и Максу – гитаристу и басисту соответственно. Я с тревогой узнал в Осиных манипуляциях поступки своей матери. А поступки тем временем повторялись. «Маленькая» стала непременным атрибутом Осы. Она добавилась к блокноту и карандашу. И как только она добавилась, блокнот заскучал. Точнее говоря, не заскучал – в

голове Осы всегда и в любом состоянии что-то делалось и рождалось. Блокнот был тут как тут. Но нетрезвые эмоции, заполняющие блокнот, были так далеки от Осиных стихов... Хотя даже среди этих плевел встречались жемчужные зерна. Ночной звонок. Я привык и устал от этих звонков за последнее время.

– Серый... Послушай... Я сделал опечатку! То есть описку, но как бы опечатку. Написал: «опечатки следов»... Опечатку в слове «отпечатки»...

– Погоди... – я сел на постели, зажег сигарету. Что-то интересное я услышал в этом жарком и, конечно, нетрезвом воображении. Я ведь тоже думал о словах...

– Смотри: «опечатки следов» – это как будто бы кто-то зашёл не туда... Зашёл и повернул обратно. И оставил «опечатки следов», а? Опечатки следов на снегу... А?

– Никто не поймёт, Оса...

– Почему?

– Потому что ты споёшь «опечатки», а услышат «отпечатки»...

– То есть исправят описку? Опечатку? А-ха-ха...

В общем, были зёрна. Но зёрен тех становилось всё меньше. К тому же Оса стал срывать выступления... И если первый раз он забыл слова и просто стоял (да нет, не просто стоял, покачивался) на сцене и музыканты спасали дело, то в туапсинском Дворце молодёжи он не смог выйти на сцену. Хотя за два часа до концерта он был трезв, похмелен, да. Ну попросил выпить пива. Выпил.

А потом всё покатилося... Ушёл Женя, Макс за ним. Надо пояснить – друзьями Осы они не были. Это были хорошие и правильные мальчики с музыкальным образованием. И надо сказать, с очень приличным... Оттого немного безумные, необычные Осиные стихи, обретая музыкальную причёсанность, звучали со сцены мощно и в то же время не разухабисто. Но, повторяю, друзьями Осы они не являлись. Другом его был я.

Я видел в Осе своё отражение. Видел то, кем я мог бы стать, если бы жизнь сложилась как-то иначе... Если бы хорошее во мне одержало верх. Как так? А вот как...

Сидели как-то вечером с Осой на берегу М-ской... В начале знакомства. Весна, вино... Воля. Я его спросил:

– Слушай, Оса... Почему ты себе никого не заведёшь?

– У меня есть Дейзи...

Дейзи – это собака. Мохнатая и подслеповатая, вся в репьях и колтунах собака.

– Оса, – взмолился я, – я о бабах...

Он помолчал, пожевал травинку... Сплюнул.

– Я влюблён, – коротко ответил он, рассчитывая на то, что смешным мне это не покажется. Расчёт оказался неверен, но у меня хватило такта не рассмеяться.

– А она? – спросил я через паузу. Я дал взгляду Осы паузу. Взгляд серьёзно скользил по зелени холмов на том берегу.

– Она? – переспросил он, будто не услышал. И вдруг выдал: – Она – ангел!

– Тогда тяжело, – пошутил я.

– Ну, – подтвердил он и глотнул из стаканчика.

Зная нелюбовь Осы к рисовке, я вполне поверил, что она – ангел. Кем впоследствии она и оказалась. Анемичная поэтесса. Из тех женщин, с которыми невозможно представить совместный секс. Какой-нибудь обмен энергией или что-нибудь в этом роде для них кажется более естественным. И оттого мне с такими неинтересно. Осе – очень интересно! Она считала его грубым животным с тонкой душой... Таких не бывает, был уверен я и поэтому не полюбил анемичную поэтессу. Ведь никакое Оса не грубое животное.

Отношений у них не было. Простое знакомство. Хотя как простое – Оса-то вон как переживает... Самое неестественное было в том, что он хранил ей верность! У Осы вообще был закон: в отношении женщин – никаких скабрёзностей. Грубое животное?!

Или вот ещё: приходит без звонка, с корзиной яблок. Неожиданно румяный и трезвый.

– Серый, я в сад пошёл, яблоки собирать... И подумал, что у тебя нет сада... На! – протягивает корзину...

Таких историй – масса. Главное качество Осы – доброта. Это вообще главное качество! Доброта и открытость. «Доброту не выбирают – с ней живут и умирают». Она либо есть, либо её нет! Нельзя хотеть быть добрым. Вот я – хочу. А Оса – добрый. Был... И теперь кончился.

Я курил, машинально ломая хрупкие, спящие зимой веточки винограда. Отламывал одну, длиною в палец. Со щёлканьем сгибал её пополам. Приступал к половинке...

За лесом начинал синеть небосвод, выкатывая плоское, бледное солнце. В сухой траве копошились птицы, склёвывали что-то и перепархивали дальше... Стоял обычный зимний день, тихий и безветренный. Мне вдруг захотелось написать: «В тихий и безветренный день не стало Осы». И написать это раз, и другой, и третий. Но я знал, что это будет позже – когда алкоголь разбудит онемевшие, каждый раз незнакомые, с железным привкусом, чувства.

Мне хочется повторить ещё раз – так и должно было быть. Оса не из тех людей, что благополучно встречают старость, но ведь всегда хочется надеяться на лучшее. Так?

Как-то так получилось, что жалостливый Оса завёл кур. По-моему, ему стало жаль цыплят, что продавались на рынке... Оса ухаживал за ними, если уезжал, просил соседей их кормить. Потом куры, естественно, выросли. Оделись в яркие перья и получили имена. Оса стал осознавать неизбежность куриной казни. Перспектива питаться куриными супами вгоняла его почти что в слёзы. Один старый адыг посоветовал ему так: встаёшь рано утром, берёшь птицу, поворачиваешься на Восток и с молитвой... Оса рассказывал, как он бегал по двору за не желающими даваться в руки курами, которые бежали-то от своей смерти. Я ещё тогда подумал, что человечество – единственные существа, что бегут не «от», а «к»... А Оса был из лучших его представителей. Человечества.

Я ломал виноград, находясь не в «сейчас», а в «до сейчас»... Я совсем не знал, что делать. Наверное, стоило вернуться в Осиное жилище, набрать телефон милиции. Или «скорой»? А что сказать? «Приезжайте, здесь человек умер»? Почему нет горечи? Я уже не говорю о слезах... Почему только досада?

Дверь скрипела ещё громче. И я этого боялся, будто боялся потревожить Осу. Он лежал так же страшно, но чтобы дотянуться до телефонного аппарата, мне пришлось переступить через его тело. Я стоял с аппаратом в руке, между кроватью и столом, а подо мною... Подо мною лежал мёртвый Оса.

Нажал две засаленные и оттого медленно возвращающиеся в исходное положение кнопки....

– Алло, «скорая»... Приезжайте, здесь человек умер.

Потом я отвечал на массу ненужных вопросов. Повесив наконец трубку, выбрался во двор, захватив с собой принесённое пиво. Присел на скамеечку рядом с крыльцом, открыл пиво и принялся ждать. Солнце чуть нагревало чёрные джинсы. Природа уже замыслила переворот, и мне казалось, что издалека, с гор, вот-вот спустится весна.

Беда приобрела послевкусие тогда, когда приехали они. Милиция, за ней – «скорая». Валили меня вопросами, а главное – выносили Осу. Носилки, естественно, не проходили в дверь. Я отвернулся, и мне была слышна только будничная, ленивая ругань. Я их понимал, конечно: из-за того что эти люди встречаются со смертью почти каждый день, они должны, обязаны просто создать себе защиту, нарастить корку... Психика – штука тонкая...

Увидел боковым зрением – Оса был накрыт своей же простыней... В синюю выцветшую полоску. Несли, кстати, как положено – вперед ногами.

Я опять отвечал на вопросы, что-то подписывал. Наконец они меня отпустили. Молодой лейтенант звонко захлопнул папку с вложенными в неё моими показаниями, сунул в рот сигарету:

– Свободен... Можешь идти...

У лейтенанта была чудная фамилия – Родин. Я подумал, как себя ощущает его жена, имея такую фамилию. И что никакое горе не уберегает человека от таких вот маленьких, будничных мыслей. Цепляются, как репей... «Человек всегда в репьях мыслей» – Осе бы это понравилось...

Возле калитки стоял сосед Осы – я предпочел его не узнать и прошмыгнул мимо, пока он беседовал с санитаром. Прошёл до поворота и, теперь обезопасив себя от взглядов и окриков, пошёл быстрее.

Всё оставалось таким, как и вчера, позавчера, неделю назад... С Осиной смертью мир не изменился, хотя глупо было бы этого ожидать. Обидно было другое – с Осиной смертью и я не наблюдал каких-либо изменений в себе. А вот за это прости, Оса.

Впереди, на обочине дороги, та самая пристроенная к дому лавка, где пожилая армянка в ответ на мою подкреплённую финансами просьбу выдаст мне вроде бы необходимую сейчас бутылку водки. Необходимую, так как мне необычно и неожиданно ощущать себя таким, какой я есть. Бесчувственным, несмотря на то что хочется, да, хочется как-то выплеснуть всё происшедшее. Эмоции, замёрзшие на дне сознания, требовали выхода и, соответственно, градуса. Я уже нёс в себе речь, которую я произнесу, когда сделаю пару глотков, сидя на берегу М-ской... Там, где мы любили сидеть с Осой. Ты уж прости, Оса, что с водкой. Увы, без неё сейчас никак, Оса.

Бутылку я сунул в карман. Вышел из лавки, под сапогами хрустели и позвякивали мелкие, подтаявшие на солнце льдинки. Ускорил шаги до остановки. До М-ской ещё надо было доехать – М-ская ведь ползёт там, в другом конце города.

Находясь в движении, я ощущал в себе мирозерцание. Скорбь – нет. Отрешённость... Я нагнал одинокую даму в белой меховой шапке... Уже пройдя мимо – обернулся. Взгляд крупно выхватил золотой зуб в приоткрытом рту, тонкую ниточку, даже скорее волосинку слюны между напояженных фиолетовым губ. Частичку пудры на щеке... Такие подробности тревоги стали заметны мне в этот день... Толстый хвост, виляющий ласковой чёрно-белой собакой, чёрно-белой, как старые фотографии. Ближе к остановке подробности приобрели многоцветие, но выхватывались всё так же – по кусочкам. Попавшая мимо урны сигарета, выброшенная щелчком пожилого, хищного кавказца. Рука в перчатке. У кожаной перчатки – сношенные белёсые подушечки пальцев без отпечатков. «У перчатки стёрлись отпечатки. Опечатка!» А?

В автобусе – дремлющий пассажир со свежесбрившими щеками. На скулах островки, нет, скорее остатки растительности – двух-трёхдневной. Подойдя поближе, я услышал запах вчерашнего, неназойливого и даже деликатного перегара. Погулял, вот спешит на работу – думаю я зачем-то... Некоторые подробности тревоги и вовсе будничны...

Автобус свернул на текущую вдоль реки улицу, потоптался на перекрёстке, открыл шумные двери на пустой остановке. Я спрыгнул со ступенек, придерживая бутылку... М-ская уже виднелась, поблёскивая сквозь чёрные и схематичные, как корабельные шпангоуты, скелеты деревьев.

Солнце быстро, по-южному, нагоняло в воздухе плюс. В парке возле М-ской было сухо. А у воды виднелась та самая скамейка, где начиналась наша с Осой история...

Я сел на её краешек. Потом подумал, что это ведь всё равно, и уселся уже поудобнее. Достал бутылку, с привычным треском скрутил серебристую пробку. Понюхав горлышко, поставил её между ног. Выудил из пачки мягкую мятую сигарету. Зажег её, сделал глоток и снова затянулся.

– Ну прощай, Оса, – мысль, срикошетив от языка, осталась невысказанной, хотя она так просилась на волю. И мне даже казалось, что как только мысль воплотится в слово, мне станет если не легче, то хотя бы ПОНЯТНЕЕ СЕБЯ.

– О чем думаешь? – с насмешкой спросил я тогда...

– О словах...

Получалось, что думаю я сейчас за двоих – за себя и за него... И вообще – вот ведь мы всегда думаем только о словах. На свете нет ни одного явления, которое мы не можем описать именно словами. Значит, мы всегда думаем только о словах. Жаль, что не все это понимают и придают этому значение. Словить мысль – значит её выговорить. Превратить мысль в слово! Филологические бредни, столь любимые Осой. Он мог заниматься такими экзерсисами часами...

– Ну прощай, Оса, – прошептал я. Вялые слова вывалились с набрякших этими словами губ. Я снова поднял и нагнул бутылку. Прикурил следующую сигарету от тлеющего фильтра предыдущей. Пригладил несуществующую седину на висках, опалив тлеющей сигаретой чёлку. Хоронить родителей – первая стадия взросления. Хоронить друзей – вторая. И даже не важно, что зачастую вторая стадия у многих начинается прежде, чем первая.

Солнце нагрело чёрную кожу куртки, добралось и до кожи лица. До кожи рук. До корней волос. Я расстегнул ворот свитера.

Я вдруг вспомнил, как мы с Осой закапывали Дейзи. Она умирала долго, может быть, месяц, но никак у неё умереть не получалось. И вот однажды утром заходит Оса – мнётся, трезвый... Потом произносит:

– Пойдём Дейзи похороним...

Она лежала у Осы в прихожей. В большую клеёчатую сумку засунул её Оса. Я сказал, что хоронить собаку в сумке нехорошо. Мы обернули застывшее тельце старой Осиной рубашкой. Рубашка была белого цвета, с длинными рукавами, и я боялся, что негнущиеся лапы собаки попадут в эти рукава. Тогда будет смешно...

Мы закопали собаку на кромке поля, почти у самого леса. Я спросил Осу про собачье надгробие – камень там какой. Оса же коротко ответил:

– Зачем? Я же сюда приходить не буду...

Я думал и думаю сейчас, что хотел он сказать вот что: если я буду знать это место, если я запомню его, тогда я буду тяготиться тем, что не навещаю собачью могилку. Если же оно зарастёт травой и цветами – а оно непременно зарастёт, – то я буду просто помнить собаку... Без привязки к месту её захоронения. По мнению Осы, да и по моему мнению, – место упокоения меньше всего привязано к памяти. Потому что зачастую на месте упокоения своего человек и не бывал живым-то ни разу... И какая после этого память?

В случае Осы – вот она, скамейка – память так память. У-ух... От выпитой водки рот наполняется сладкой, тягучей слюной, и я пожалел, что, пытаясь соответствовать трагедии, не взял в довесок к бутылке хоть бы и плавленый сырок. И мысль об этом тоже не соответствует трагедии.

В кармане у меня завалились какие-то семечки, и я, сплёвывая налипшую на губах шелуху, грыз подсолнечные зёрнышки, успокаивая тошноту. А шелуха некрасиво летела вокруг, и грязная, слюнявая шелуха меньше всего соответствовала трагедии.

Я понимал, что поминаю Осу как-то не так. Но пока я его и не поминал... Я его понимал. Ну не его, конечно, а его уход... Понимал – поминал... Согласные с легкостью перескакивали друг на место друга... Оса, Оса! Ведь такими словесными играми мы развлекались только с тобой.

Я вспомнил (да и не забывал вовсе) его ночной звонок... Я мог бы его спасти? Нет! Хотя на мой робкий вопрос о причине смерти фельдшер ответил дежурным:

– Вскрытие покажет...

На вопрос о том, мог бы я помочь Осе, спас бы я Осу, если бы принёс ему этилосодержащее, фельдшер ещё раз повторил вышесказанное...

А Осу я спасти не мог. Я мог бы отсрочить его неизбежную гибель на месяц, на две недели... Кроме Осы, спасти Осу от гибели не могла ни одна живая душа. Оса же от гибели, как я уже говорил, не спасался – напротив, бежал к ней на полных парах со скоростью паровоза. Вывод один – чувства вины у меня не было. Я знал – алкоголика от алкоголя может спасти только сам алкоголик... По опыту с матерью я познал это очень внимательно и целиком. Можно прятать алкоголь, просить, ругаться, наконец... Прости, Осиная голова, я отвлекся.

Был будний день, рабочий день, и парк был практически пуст. Я же не мог отделаться от мысли, что какой-либо прохожий вдруг вынырнет ниоткуда и, потупив глаза, спросит вдруг:

– Водку будешь?

А после третьего глотка водка расслабила... И я наконец почувствовал себя легче. Небытие Осы становилось правдой. И успокоенные этим мысли потекли ровнее. И суетливая печаль вдруг стала приобретать глубину...

Я помню – Оса обожал глядеть на звёзды. Он говорил, что видит в них в первую очередь не красоту – вечность. Собирая его восторги воедино, я охарактеризовал бы отношение Осы к ним так: их так много, они так далеки, что и помирать не страшно. Хотя у Осы это всегда звучало более романтично. Я с ним соглашался, но меня впечатляли более ощутимые расстояния и скорости. Смена времен года... В этом я видел какие-то отголоски постоянства... И поэтому я думал так: «Вот Оса превратился в весёлый воздух, в солнечные лучи, в постоянную текучесть и задумчивость М-ской, в серые её воды, наполненные зеркальными бликами. Все мы умрём, Оса, но не исчезнем с лица Земли, пока существует память о нас. Я помню тебя, Осин...»

– Я помню тебя, Осин, – пробормотал я, стесняясь даже немного этих слов. Но слова были нужны, а кроме себя самого, стеснять словами было некого. И снова приподнял бутылку...

Неслышимая, немая М-ская разливалась внизу. Было тихо-тихо, и мир разговаривал со мной только на птичьем, древнем и непонятном мне языке. И мне вдруг подумалось так:

«А ведь всё не важно, Ромыч... Кто мы, где мы... Живые мы или мёртвые... Всё смоеет она – М-ская, другая река... или Млечный Путь – тоже по-своему река. Тысячи и миллионы световых лет и какие-то немыслимые миллиарды лет временных... Всё, что мы можем, – оставить песчинку памяти на короткую секунду. Ничего более... Вот ты, Ромыч, оставил добрую, светлую песчинку. Мне вот она нужна была, песчинка. И ничего более... Спасибо тебе, Рома».

Я сделал последний глоток и отставил бутылку в сторону. Это была уже лишняя, ненужная жидкость... Я примирился с уходом. Я поблагодарил Осу за его существование. Я примирился, поблагодарил и назвал его по имени.

Всё? Да, конечно, не всё... И саднить будет, и будет болеть... Да ещё куча всяких неприятных и обязательных штук. Но первый и важный для меня шаг был сделан.

Я поднялся со скамейки, засунул руки в карманы, образовав тем самым внутри себя отчуждённость... Отстранённая, стояла и поблескивала ополовиненная бутылка. Я отвернулся от неё и пошёл вдоль М-ской к автобусной остановке. Мне было необходимо поесть и выспаться...

Катя

Конечно, расписаны мы с ней не были. Более того – знали, что если браки свершаются на небесах, то против наших с ней граф стоят другие люди с другими фамилиями. Просто эти люди пока не встретились нам в жизненном переполохе. Я же пытался делить с ней одиночество, изредка переходящее вдруг, после делания любви особенно, во что-то большее. Но что-то большее подразумевает другую полярность, и когда наступало что-то меньшее – я не хотел её видеть. Спать с ней я хотел всегда, а вот засыпать – нет.

Она была старше меня, пусть и на два года, но это старшинство было именно психологическим старшинством. Катя занимала приличную должность и имела соответствующие должности деньги. Денег не жалела... Жадность – не её качество. Но! Эти «но» и составляли всю мою неопределённость отношения к ней. Не жадная – но принципиальная. Зачем, например, тратиться на подавания нищим и алкоголикам? Пьющая из горлышка вровень со всеми, когда случались такие ситуации, но тыкающая меня носом, если я вдруг забывал вымыть рюмки после посещения друзей и ставил рюмки в сервант, не сполоснув. Да, ещё обидное – Катя никогда сама не покупала противозачаточные, их должен был покупать только я. И это тоже было из разряда принципиального... Без таблеток – всё что угодно, исключая естественность... Что наводило на мысль о том, будто от меня иметь детей она не хочет. Да мы и не говорили об этом. Достаточно было просто это подразумевать.

Ещё пара «но»: любила принимать гостей, но только если гости были не моими гостями. Общие знакомые – пожалуйста. И, кстати, Оса к общим не относился.

И самое главное: она жила у меня, но не переезжала ко мне. То есть пыталась жить на два дома. И это были две разные Катины жизни. Постоянно дымящая, красивая когда-то мать её и отчим – солидно располневший с годами, бывший спортсмен, лыжник вроде бы, – вот они были для неё второй, иногда казалось мне, более близкой семьей. Все ссоры наши заканчивались её побегом и недельным обычно отсутствием...

Я, наверное, тоже не был для неё идеальным мужчиной. Небрежно одевался, ложился спать под утро... Не говорил ей ласковых слов... Последнее вообще было для неё болезненным. А я не мог себя переломить. Я не мог говорить нежности красивой и взрослой девке, умной к тому же... Стоящей на своих чудесных двоих гораздо увереннее меня.

Скреплял же отношения наши... юмор. В словотворчестве она напоминала Осу, но если у Осы словотворчество больше напоминало шаманские заклинания, где вокруг слова строились символы и догадки, то словотворчество Катина было лёгкого, смешливого характера.

Однажды мы стояли в магазине. Незвестная пожилая дама попросила меня:

– Достаньте мне вот ту банку... Вы длинный.

Катя отреагировала тут же:

– Длинный бывает язык. А он – высокий...

И стояла дальше, умело сдерживая смех.

Или говорит мне после любви:

– Серега, а ты всегда был секс-символом?

Я приподнимаю бровь, чувствуя подвох...

– В том смысле, что секс с тобой всегда был чисто символический?

Искусная пауза. Общий хохот.

Как-то заявила нахамившему ей знакомому:

– Выйди и закрой за собой... рот.

Она не могла быть слабой, и это меня настораживало... Мне кажется, слабость сродни чувствительности. Нельзя быть сильным перед звёздами, как сказал бы Оса. И я бы согласился...

– Почему ты не стала моделью? – как-то пошутил я. Вернее, попытался сделать комплимент ходящей по комнате её обнажёнке.

– У меня щиколотки толстые... Вот тут, – она провела пальцем от икры вниз, – должно быть, – не помню, сколько она заявила, – сантиметров. А у меня на сантиметр больше...

То есть вот если бы не щиколотки... Ох уж эти щиколотки...

Вот так мы и «толкались» друг с другом, но нередко, в те самые недели обиды её на меня, я догадывался, что мне надо что-то менять...

Это чувство явилось ко мне ещё в Краснодаре. С Катей, да и с Осой я был, конечно, ещё не знаком. Меня в прямом смысле слова мучило от собственной бессмысленности. Не бесполезности – внутри себя я был полезен. Хотя, вроде бы, только себе. Но пугало не это. Я ощущал что могу, в состоянии и таланте сделать что-то ещё. Большое и, наверное, нужное.

В М-ске я понял, что горка денег, насыпанная поверх необходимой суммы Осой и его командой, не приносит не то что счастья – даже удовольствия. После того как я перебрался в М-ск, с нуждой я не сталкивался. Получив же впервые приличную сумму от Осы, бросился покупать музыкальный центр. Через две недели я понял, что мой старый и потрёпанный предыдущий считывал с аудионосителя те же слова и те же ноты. Горка подсыпалась – а я думал: «Зачем?» С детства я питал равнодушие, даже неприязнь к автомобилям. А в первую очередь к автолюбителям. И получал удовольствие от пешего, неторопливого передвижения. Поэтому нежелание автомобиля сделалось элементом гордости. Слабости были удовлетворены – духовое ружьё, два непомерно дорогих и острых ножа с красивыми ручками и непомерно острой сталью. Всем этим я пользовался раз, может быть, месяца в три... И что было бы, если этот раз, который месяца в три, я употребил бы на более полезное занятие? На чтение, например. Я не стрелял по птичкам, а магазинное мясо вполне поддавалось обычному кухонному ножу. Только гитара была приобретением расчётливым и разумным. Это было точечное, точное приобретение. Это всё. Тогда что же так тревожило меня? Что не позволяло порой уснуть до утра, почему я до первых птиц ворочался в постели? Почему курил на балконе, мечтая о том, чтобы сигарета кончилась только к утру? Вывод о том, что дело не в деньгах, я сделал быстро и безапелляционно.

Я много читал. Но в отличие от других книголюбцев, литература не была для меня выходом. Хуже того – она была входом. Литература была для меня входом в тот мир, возвращаться из которого мне не хотелось. Однако честолюбие не позволяло мне сделаться червем, пусть даже и книжным.

Завидовал ли я Осе на пике его популярности? Пожалуй, нет. Я завидовал его месту на сцене – это было. Но ведь со сцены можно было произносить всё, что угодно... И я не мог предложить миру то, с чем выступать на сцене было бы неожиданным и интересным.

К счастью, я знал место своим стихам. У них не было недостатков. Беда в том, что достоинств у них было тоже не много. Они были крепенькие, как ещё сотни породистых щенят в собачьем питомнике. Крепенькие и одинаковые. А как известно, новые и красивые породы обычно рождаются посредством мутаций. Против мутаций возражало всё моё сознание... Да и не с таким, пригодным для хороших стихов сознанием я родился. Исполняющий мои песни Оса благородно и благодарно объявлял меня автором, кивая в задымлённую, хаотичную темноту, где среди зрителей находился и я. Я только чуть кивал головой в знак благодарности, так что даже стоящие рядом люди этого не замечали. Это было приятное «не моё», и Оса, зная это, никогда не звал меня на сцену. Я был «серым кардиналом» не потому, что этого хотел. Потому, что первая и ведущая роль мне не светила.

В общем, как я уже говорил, всё равно надо было что-то менять.

Я перечислял в уме возможности: место жительства, род занятий, работу? Женщину? С алкогольными проблемами Осина и, соответственно, с появлением бездельного времени это чувство утвердилось во мне, залегло внутри меня глубинной бомбой с часовым механизмом

(по крайней мере, мне так казалось), напоминающей о себе пока что только более или менее назойливым тиканьем.

«Кто я?» – задавал я себе естественный и разумный вопрос, но в отличие от большинства ответа я не находил...

Многие мои друзья мечтали путешествовать. Увидеть джунгли Южной Америки и бездельные пляжи Гоа. Париж и Венецию... Я – нет. Зачем мне всё это, когда я не определился с главным и единственным вопросом: «Кто я?» То есть путешествовать я всё-таки хотел, но прежде я хотел кем-то стать! Получить право на путешествия...

Было так: начиналась зима, робкие заморозки покрыли стёкла корочками изморози, легко соскабливающимися ногтем. И стоя в тамбуре электрички (станция назначения уже и не важна), я раз за разом царапал на матовой белой поверхности одно и то же.... Пока поверхность стекла не оказалась неравномерно, однако почти полностью исписанной... «Кто я?..» «Кто я?..» «Кто я?..» Мне нравилось раз за разом выводить это словосочетание так, как будто бы, написав его многое количество раз, уставшая от повторений рука сама вдруг напишет ответ. Ответа не было – мной овладевало отчаяние...

Возвращаясь к Кате: тема эта в наших с ней разговорах была – табу. В отличие от меня она точно знала, кто она. И хотела иметь рядом с собой такого же знающего мужчину. Может быть, нежелание детей из той же оперы-балета?

Я говорил ей несколько раз – говорил о том, что есть другие люди, города, занятия... Понимая, впрочем, что и в других городах и занятиях я не могу появиться с дырявой авоськой знаний. Её красота и моя неплохо соображающая голова – это никакие гарантии. Но меня приводило в отчаяние даже нежелание попробовать что-то изменить... Как любил повторять мой знакомый ставропольский музыкант: «Лишь бы лететь – пусть даже и фанерой над Парижем». Пока же я покорно ожидал, что под лежащий камень вдруг, ни с того ни с сего, потечёт ручеек. Образно выражаясь, под два наших лежащих камня ручеек и тёк – устьем ручейка был смешной пупырышек презерватива. Никаких других ручейков пока не предвиделось. Плюс, как я говорил, вторая Катина семья – мать и отчим-спортсмен собирались увезти её драгоценные прелести загорать на какие-то египетские курорты. Где её прелести будут ещё более прелестными. Я же, настоявшись, как колодезная вода на дубовом листу, на рассказах Казакова, мечтал о севере и безлюдье... И она-то, если не случится поговорочного кирпича или чего такого, точно попадёт в Египет. Я же с севером... Вечная нерешительность.

Север должен был принести те впечатления, которых я боялся и жаждал одновременно. После севера, казалось мне, я буду наконец-то обязан сесть и писать. Я буду должен северу... А быть должным я не любил.

В ящике письменного моего стола лежали десятка полтора рассказов. В идеальной аккуратности и бездеятельности. Эти рассказы я показывал только Осе. И Оса, как я и ожидал, не оценил рассказов. Вернее, он их просто не прочёл. К нерифмованным словам Оса относился с прохладцей. Безрифменные и безритменные слова были для него средством поиска. Перспективой их зарифмовки... Или наоборот – лишним оплывшим воском вокруг идеального до невозможности пламени свечи. Да к тому же поэты вообще редко интересуются чем-то, кроме Бродского, себя и ещё парочки таких же безумцев. Я для Осина исключением был лишь потому, что мои стихи были другими, чем его. Щенки разных пород...

Отдав Осе рассказы, я забрал их через неделю под каким-то предлогом, а он про них больше не спрашивал. Мы поняли друг друга без слов и обид.

Я повторяюсь – я боялся севера. Я с отчаянием понимал, что, если я приеду оттуда пустым – это может оказаться катастрофой. При том что писать я не любил. Писательство напоминало мне бесцветную картину пахоты бесконечного поля... Бородатый мужичонка и худая лошадёнка с криволапым плугом, напоминающим худо сделанные грабли... Триумф где-

то там, за пятьдесят. Перспектива его – минимальна. Трудозатраты – огромны... Причём триумф к такому возрасту пугал гораздо сильнее трудозатрат.

Писать я не любил, но иногда – редко и метко – находились, как мне казалось, те самые слова, которыми чётко и нервно вырисовывалась, выражалась вдруг ускользающая, торопливо промелькнувшая эмоция. Я схватывал её, и застывшая, эмоция превращалась в мысль. Мысли оформлялись в цепочку. И цепочка записывалась единственными, нужными словами. Мне верилось – выходит неплохо.

Однажды, как только я познакомился с Осой, я случайно сблизился с одним засаленным типом. Тип снимал клип. Осе. Тип много суетился, обосновывал свою бездарность (хотя какая «дарность» тогда стала бы что-то снимать Осе?) художественным понятием «минимализм»... Видимо, за неимением их в постели, требовал обнажённых девиц в кадре. Короче, он и Оса быстро послали друг друга к известной матери, но... Этот засаленный чудак действительно любил кино. Следил за новинками. Собирал видеокассеты. Подписывал их корешки совершенно неясным и бледным шариковым почерком. Именно поэтому я не знаю названия фильма, что он мне дал посмотреть. Это было как раз накануне ссоры. Кассету я не отдал по той причине, что режиссер слинял. Скрылся. Исчез. А посмотреть её решился ещё через месяц. Я-то как раз к кино отношусь прохладно.

Я четко помню – сварил ковшик кофе... Как будто приготавливая себя к чему-то... Хотя был обычный, стандартный для летнего М-ска вечер. Кофе я всё больше употребляю с утра. Толкнул кассету в щель проигрывателя. Фильм начинался даже не с начала. Того засаленного, что мог бы мне объяснить завязку, не было рядом и нет до сих пор. На экране миловались обнажённые подростки. Девочке – лет шестнадцать. Хотя нет – это было официальное французское кино, претендовавшее на какую-то награду. В общем – неформалы, первая любовь, худосочная претензия на эротику, грудки-семечки – тоска и скука... И в один из моментов зазвучала музыка. Пронзительная и точная одновременно. Сочетание – идеальное. Я вспомнил всё. Я – подросток, поцелуй почти первый – мы что-то делаем друг с другом в голом виде и ещё точно не уверены – что. Фильм – мусор. Музыка – не будь её здесь и сейчас – мусор тоже. Я дослушал мелодию, перемотал и поставил ещё раз. Кому сказать спасибо – безгрудой девочке с экрана? Двум французским мальчикам актёрам, что так нежно целовали эту девочку? Композитору, сочинившему простенький рефрен?

Я нажал «стоп». Едва ли не на ходу наливая кофе, кинулся к столу. Утопая в сигаретном дыму, я бежал по бумаге, боясь спугнуть состояние любым лишним движением. Я окунулся туда, в слова, так, будто переживал своё состояние снова. Единственное отвлечённое действие, что я совершил за эти два дня бегства, – я ходил за куревом. Да варил кофе. Я вскипятил и приготовил рассказ. Потом я проспал сутки. И даже когда проснулся, глаза чесались от висевшего в квартире дыма.

Получается, что писать я любил? Да. Я не мог вообразить, как можно заставить себя писать. Как можно заставить себя добровольно пахать бесконечное поле... И, наивный, я всё надеялся, что мне поможет север.

– Я вижу, вы вместе с Осой напохмелялись? – Катя пригрела на лице усмешку. Она вернулась с работы. Успела переодеться в домашнее. Выпившего – она переносила меня легко, а главное, редко. Я ещё не успел забыть ту дорожку, по которой отправилась в вечность моя матушка.

Усмешка всегда удачно и симпатично существовала на Катином лице. Сейчас должно было последовать: «Ну раздевайся...» – по интонации так похожее на добродушное «Горе ты моё...»

– Ну раздевайся...

– Слушай... – язык опять прилип к нёбу. Я стоял, не двигаясь.

– Э... Э-э, – она поняла: что-то тревожное.

– Слушай, – подтвердил я, – Оса умер.

Катя, спасибо ей, не стала задавать глупых вопросов... Наподобие «как?» или «когда?». Несложно, например, догадаться «когда», если ночью он ещё был жив... Катя сказала:

– Ого, – и опустила глаза. Хотя, наверное, слишком громкое «ого» для настоящего соболезнавания. Больше от удивления. Я тут же подумал, кому же она должна соболезнавать? Если Осе – ему уже и не надо. Мне? Я-то, увы, переживу...

– Я к нему утром пришёл, – рассказывал я, снимая куртку и ботинки, – а он уже лежит...

– На кровати? – почему-то спросила Катя.

– На полу. Да и какая разница... – всколыхнулось вдруг раздражение.

– И ты там с ним?..

– Сидел? – закончил я за неё. – Нет, вызвал милицию и на лавочке пиво пил.

– Пиво? – переспросила.

– Ну пиво, которое ему нёс... А что я должен был – головой об стену биться? Рыдать – так не рыдалось...

– А я понимаю... – Катя сдунула чёлку. – Когда папы не стало, я вообще на дискотеку попёрлась...

– Хочешь сказать – организм защищается?

– Нет, просто говорю тебе. Помянем? У меня есть немного. Мы с Лидкой не допили...

Лидка – её подруга. А не допить они могли только мартини, потому как только его и пили.

– Ну давай твоё немного...

Катя запустила руку в кухонный шкаф, достала полбутылки ожидаемого.

– Вот только с соком мешать не будем...

– Да какой сок, – отозвалась она, соглашаясь, – не тот случай.

Хозяйским движением пальцев уцепила сразу две рюмки, налила так, что на поверхностях рюмок образовались выпуклые линзы. Капли поползли по стеклу. Тяжёлый напиток густо пахнул лекарством. По крайней мере мне так казалось...

Молча потянули рюмки ко рту, высосали лекарство. Поставили рюмки обратно.

– Тебе больно? – состорожничала Катя. Оса был первой нашей совместной потерей.

– Да скорее странно. Уже ведь его не наберёшь...

– Ты часто ему звонил последнее время? – это прозвучало вопросом, но вообще это было утверждение. Последнее время я ему почти не звонил, потому что его последнее время Осин был тяжело и невежливо пьян.

– Ну да, – подтвердил я, соглашаясь с утверждением, что не часто, наблюдая, как за окном на стволе дерева живая птичка выковыривает из-под коры какую-то снедь, работая клювом, как сапожник шилом.

Мы замолчали. Птичка передвинулась по стволу чуть ниже. Я не знал названия этой зимней пичуги.

Катя опять налила лекарства. «Интересно, помогло бы это лекарство Осе?» – подумал было я, но прогнал и проклял эту мысль. «Помогло бы в этот раз – не помогло в следующий».

– Ладно, – вздохнула Катя, глядя на жидкость так, будто выискивая на дне рюмки невидимых микробов. Я чуть было не улыбнулся.

– Серёга... – начала она вдруг осторожно, переходя с поминовения Осы на какую-то другую, ей важную тему.

Я перевёл на неё глаза. Поминая Осу, удобнее было глядеть на законную птичку.

– Я начинаю к тебе привыкать... – сказала она очень серьёзно. С её стороны это звучало почти признанием в любви, какового я от неё не слышал, да и не ждал особо...

– Я давно к тебе привык, – не сморгнув, солгал я. Потом всё же сморгнул. Потому как солгал наполовину.

Она шурилась сквозь сигарету и долго и прозрачно глядела на меня, не замечая дыма. И улыбнулась:

– Ты не понял... Это похоже на чувство.

Я возвратил взгляд за окно, меня охватило замешательство... Закопная птичка переместилась ещё ниже по стволу, задорно вертя хвостиком.

– И... – подтолкнул её я.

– Мне нужна неделя, – запуталась она вдруг, опустила глаза и, показалось мне, покраснела. Впервые за всё общее время...

Я её понял. Она просила... она просила неделю, как... как просят убавить пламя под сковородой, чтобы блин не сгорел раньше, чем будет румян и маслянист. Только хозяйина этой сковороды не спросили, каким он хочет видеть блин этот...

– Там по последней, – я заинтересованно потянулся к бутылке. Как к лекарству от ненужных и необдуманных слов.

– Ты переводишь тему... – она выглядела немного даже счастливой своим признанием.

– Я стараюсь избежать пафоса... – тему я действительно переводил.

– Так ты даёшь мне неделю? Вообще без тебя? – сигарета, как влитая, торчала в её руке и густо дымила. Это было даже красноречивее, чем какое-нибудь её дрожание. Катя волновалась.

– А что будет дальше? Что-то изменится?

– Мы договорились? А потом ты узнаешь, что... Может быть, у меня будет одна семья, а не две.

– Неделя нужна с сегодняшнего дня? – задал я последний вопрос. Отпускать её сегодня я не хотел. Потому, что хотел её. Я хотел бежать от кошмарного утра любым возможным способом. Инстинкт размножения работает вдруг в неприглядных и не соответствующих трагедии случаях.

– Нет, с завтрашнего. Сегодня я останусь с тобой...

– Тогда докуривай быстрее...

– Больно... – резко вздрогнула она всей кожей, когда я позволил себе немного грубости. Я попытался чуточку отстраниться, но она, обнимая меня, выдохнула быстрым, ярким шёпотом:

– Нет, нет... Сделай ещё больнее... Тогда хорошо будет...

Мир закачался, закрипел... «Сделай ещё больнее. Хорошо будет».

Когда я вернулся на кухню, чтобы попить воды, маленькой птички на стволе дерева уже не было.

Странная вещь, думал я, лежа в постели. «Он проснулся и вдруг вспомнил, что...» – это для книг. В жизни всё по-другому. Я помнил это ещё по тому времени, когда умерла мать. Пробуждаешься, уже зная. Бережное сознание как-то хранит нас от шоковой терапии. Вот и сейчас – проснувшись, я ничего не вспоминал. Проснувшись, я уже знал, что произошло вчера.

Катя спала бесшумно, и я несколько минут слушал только тишину, в которой, даже прислушиваясь, не отыщешь её дыхания. Стараясь не шуметь, встал, натянул шорты...

Возле мойки на кухне сияли вымытые рюмки. В чистой пепельнице на подоконнике догнивал единственный Катин окурочок. Бутылка отсутствовала. После того как я вчера лёг, Катя всё вымыла и убрала.

Я попил воды из под крана, поставил чайник. Первое, что попросит Катя, проснувшись, – поставить чайник. А он будет уже горячий... Она будет пить зелёный, пахнущий рыбой чай и потом торопливо краситься... Готов ли я к тому, что это будет происходить ежедневно? Готов ли я к тому, что она даст мне подписку о невыезде?

Катя проснулась по будильнику. Несколько минут лежала, не двигаясь, – я это слышал. Потом, пошуршав одеялом, по обыкновению села в постели.

– Степнов, чайник уже горячий? – послышался из комнаты сонный, а потому на тон ниже её голос.

После обычных утренних процедур – долгого хождения в ванную и обратно, расчёсывания волос с заколкой в зубах, подкалывания этих волос за ухо, деловитого молчания – она налила чашку рыбного чая, села боком к столу. Взяла фигурную чашку двумя пальцами, подула на кипятки.

– Голова не болит? – задала участливый вопрос...

Я видел, как она топчется на месте, не зная, с чего начать необычное утро. Или она передумала уходить?

– Серёга, ты не передумал? – хлебнула из чашки.

– Как можно пере-думать, если я и просто-то не думал об этом... Это твоё право. Да и передумать можешь только ты. В конце концов, «надо» – значит, надо.

– Надо, – подтвердила она и опять хлюпнула чаем.

Мне казалось, будто она чего-то недоговаривает. Будто думает больше, чем говорит. Но сейчас мне было вполне достаточно и этого.

Когда она уходила – строгая, прямая, собранная, – остановилась у дверей. Достала из сумочки ключи от квартиры. Протянула мне, и я поймал ключи в ладонь.

– Чтобы не было соблазна... Пока. Я сама тебе позвоню... – и неожиданно поцеловала меня, как бы извиняясь за что-то. Это было необъяснимо, потому что такие нежности ни я, ни она не выносили...

Капитан ближнего плавания

Осу хоронили в дурную погоду. Надо сказать, что мне не пришлось участвовать в каких-либо приготовлениях, потому как у Осы обнаружилась масса родственников. От Краснодара до, как выяснилось позже, Магадана. Дату и время мне сообщил грустный женский голос, обладательница которого сама нашла мой телефон в записной Осиной книжке. Книжка была настолько истоптана буквами, что найти среди них мою фамилию оказалось не так-то просто.

Я нехотя набирал номера наших общих знакомых. Большинство из них уже всё знали. Получив десятки соболезнований, выяснил вдруг, что знакомые не очень-то хотят прощаться с Осой. Кто-то даже пожалел об одолженных ему деньгах. Я силился их понять. Силился так, что иногда у меня это получалось. Последнее время Оса всё ж таки им насолил... И наперчил. Звонил ночами. Просил выслушать. Опять же, просил денег. И самое противное, как оказалось, – плёл в разговоре всякую чепуху... Легко плести чепуху, когда заплетается даже язык.

Сначала я терпеливо пытался объяснять, что чепуха рождалась не Осой – алкоголем. На мои плечи ложилась неожиданная обязанность – оправдываться. К тому же не за свои поступки. А потом мне это надоело, и знакомые стали получать от меня бледную справочную информацию. Как в «Новостях» – «Прощание состоится...»...

Единственной, пожалуй, кто удивил меня, была та самая анемичная поэтесса. Голос вздрогнул, взлетел, слышно было, как на том конце провода поэтесса глотала слёзы:

– Ой-ой-ой, Ромочка... Ромочка...

– Не плачьте, – сказал я, уже набрякший недовольством, как водою промокашка. Хотя такая реакция – да, была неожиданной.

– Понимаете, Сергей... Я его любила... Через стихи...

– Ну да... Через старые стихи... – жестоко ответил я.

– Нет. У него было много новых... Вы не знаете, он мне письма присылал со стихами. Хотя живём – через две остановки. Только стихи – никогда ничего не приписывал...

Вот тебе и тантрический секс. Эту тайну Оса мне не поведывал. Держал её в Осином гнезде... Хотя я думал, что по пьянке он выболтал все тайны. Я думал, гнездо Осы – пустое гнездо...

– Извините... – пробормотал я.

– И вы меня...

– Марианна, – я вдруг вспомнил имя анемичной поэтессы, – не приходите. Послушайте меня – не приходите... Он там... – я повторялся, чтобы подобрать слово, – изуродовался. Если бы он мог попросить, он бы попросил... Ну чтоб вы его не видели таким...

– А, я поняла, – испуганно заторопилась она. – Поняла...

– До свидания, – сказал я, тут же испуганно подумав: «Где?»

– До свидания, Сергей.

По её голосу я понял, что она придёт. Анемичные поэтессы – храбрые люди...

Хоронили Осу в дурную погоду. Липкий от дождя ветер загонял весну обратно в горы. Тучи ползли, как гигантские серые утюги. Собаки хороших хозяев сидели дома. А я решил не пить на поминках. Слишком много чести для водки, виноватой во всём случившемся.

Возле морга уже топтались незнакомые люди, хотя я приехал пораньше. Прикрытая дверь в Зал прощания попискивала уныло и монотонно, когда я заходил внутрь. Около единственного в этот день гроба – в ногах лежали гвоздики – молчали двое. В пожилой женщине я узнал тётку Осы – мы виделись на похоронах его матери. Тётка Осы сильно поседела с того времени и ещё больше растолстела. В такт её бесшумным всхлипываниям колыхалась вся непомерная и безразмерная фигура. Тётка Осы тщательно протирала глаза беленьким платочком. Протирала

так внимательно, как будто делала нужную работу. Тихонько сморкалась, пряча нос в кулаке. Увидев меня – кивнула.

Мои глаза протирать было незачем.

Оса лежал густо загримированным, белым от пудры или крема, чего там они используют... Губы исчезли – остались две едва видимые розовые полоски. Под ушами видны были натёки... И главное – я не мог поверить, что то, что лежит передо мной, когда-то жило. Двигалось и говорило. Ещё один природный ход, спасающий психику. На нет и суда нет...

Я ещё немного поглядел на чучело Осы, ловя себя на том, что с таким же успехом можно глядеть на пустые стены. В потолок. На всё то, что лишено движения. На всё, что мы называем вещами.

Я мог бы уйти. Но печальному телефонному голосу я обещал быть на поминках... Связав таки голос с образом, можно было сказать – тётке я Осиновой обещал...

Я уместил четыре гвоздики поверх других, пытаюсь не закрывать чужие цветочные головки своими. Достал сигареты, так чтобы тётка и, очевидно, муж её видели причину моей отлучки. С облегчением вышел в скрипучую дверь под порывы ветра.

Несколько человек – две пожилые женщины, мужчина и пацан лет двенадцати – о чём-то шептались в стороне. А я надеялся, что увижу кого-то из знакомых.

Прибывали ещё какие-то люди – всех проходящих к Осе ещё издали можно было узнать по цветам. А пересчитав цветы – по их, цветов, чётности. У Осы, я повторяю, была уйма родственников. Вышла тётка, поприветствовала меня ещё раз, всё так же сморкаясь в мокрый уже платок. Потом спросила тем же шёпотом, который, очевидно, стал здесь хорошим тоном:

– Вы на поминках будете?

– Да, – громко ответил я, и все обернулись.

Я боялся вопросов. Не очень-то приятно передавать словами эти воспоминания. Всё, что я хотел сказать, услышала Катя.

Анемичная поэтесса Марианна появилась неожиданно. Простовато одетая – потертые джинсики, куртка-пуховичок на рачьем меху, говорящем о полном денежном безрыбье. В руке – четыре траурные розы, в другой – выгибающийся и пружинящий под ветром зонт. А появилась неожиданно потому, что я её не узнал. Признаться, ожидал от неё какой-то позы. Нет, идёт себе, как будто ещё один представитель многочисленного Осиного семейства, объединённого общей печалью.

Узнав меня, замедлила шаг. Подошла, на ходу закрывая зонт. Беспородное, симпатичное личико было обрызгано веснушками.

– Пойдёмте, – вместо приветствия кивнул я. Мне зачем-то понадобилось сохранять психическое здоровье анемичной поэтессы, если вообще у поэтесс может присутствовать такой атавизм, как психическое здоровье.

Дверь снова пискнула, как обиженное маленькое животное. Люди, стоявшие возле Осы, то выходили, то появлялись снова.

Я не держал поэтессу ни «под», ни «за» руку, но не она подошла – я подвел её к Осе. И тут она удивила меня снова: положив цветы – а цветы уже доходили ему до пояса, – поправила Осе покрывало. Заботливо подровняла его... Ромашковые глаза при этом сделались серьёзными, горькими глазами. Потом она наклонилась к уху Осы и что-то ему зашептала. Слышны были только шипящие. Родственники понимающе сделали шаг назад. Они, наверное, думали, что анемичная поэтесса – девушка Осы. В каком-то смысле так оно и было. Когда она донесла до Осы всё, что считала нужным, поцеловала его в лоб и отошла. Родственники снова сомкнулись. А я проникся достоинством, с которым Марианна подошла попрощаться. Беспородное лицо – ещё не отсутствие породы...

Когда мы вышли курить, на бессмысленное стояние уже не было сил, дождь притих. Невдалеке, но как бы за территорией морга, хотя она ограничивалась, территория эта, только в

сознании, вросшая в землю, торчала серая сырая скамейка. Мы, не сговариваясь, направились туда. Повторяю, скамейка была вне морга – просто больничная скамейка. Подразумевалось, что вот на ней разговаривать громко можно.

– Хорошо бы, чтобы выглянуло солнце, – предположила она, доставая сигареты.

– Вы пойдёте на поминки? – мне тоже хотелось солнца, я продрог, а ведь предстоял ещё путь на кладбище.

– Зачем? – она недоуменно повела плечом. – Пить?

– Всё правильно, – подтвердил я её «зачем».

– Хорошо бы, чтобы выглянуло солнце. Последнее стихотворение, которое он прислал... Там было много про солнце. Все думают по его стихам, что Ромка любил дождь, осень... Нет, Ромка любил солнце...

– И звезды... – добавил я.

– Вы тоже знаете? – удивилась она.

– Ну да, знаю...

– Я хотела вас спросить, Сергей... Что вы подумали, когда... ну, нашли Ромку?

– А что вы хотите услышать? – съязвил я. Она что, думает, я её душу наизнанку выверну? Душа не шуба – вывернуть её не так просто.

– Я ничего не подумал. Я сперва испугался, а потом сел на скамейку и стал пить пиво, – мне захотелось её ошеломить.

– Всё правильно, Сергей, всё правильно, – и умная поэтесса выпустила медленную струйку задумчивого дыма.

Пока мы сидели, ровно к назначенному времени повалил народ. То есть не то чтобы повалил – его просто стало намного больше, и состоял он из знакомых Осы и поклонников его творчества. По большей части – в одном лице. И сразу похороны приобрели ни с чем не сравнимый оттенок безумия, потому что большинство молодёжи к полудню уже успели Осина помянуть.

Кто-то ещё и прихватил бутылку с собой. Разливали прямо за моргом. Молодой парень с русой козлиной бородой, в длинном плаще, смотревшемся кожаным (я мог бы поклясться – из кожзама), припёрся с гитарой. Гитара торчала на его плече декой кверху. Держал он её за облезлый гриф. Так строители носят свои кирки, лопаты... Ломы, наконец. Козлиный парень не знал, что гитара не часть имиджа. Гитара – инструмент, и гитара имеет свойство трескаться от влаги. Да и вообще от такого обращения. Ему было всё равно.

Бутылка за моргом кончилась. Я не заметил, прощались они с Осой или ещё нет, но взамен первой у них появилась вторая бутылка. Их привлекла скамейка, но я издали пригрозил молодым поклонникам Осинаго творчества кулаком, и они махнули рукой на свою идею.

И тут я увидел Макса.

У Макса было прозвище – странное немного прозвище, но Макс на него отзывался. Прозвище его было – «Один Хрен». А получил он его так.

Женя привёл на первые репетиции Макса, они вместе учились в музыкальной школе: вот, мол, неплохой басист. Басистом Макс действительно был первоклассным. Оставаясь при этом совершенно инфантильной личностью. Когда Оса – свежий тогда, полный деятельной энергии – спросил его, что Макс предпочитает играть, Макс ответил:

– А мне один хрен – лишь бы не скучно.

Рассеянно улыбнулся.

Как потом выяснилось, рассеянная улыбка, ставящая в тупик собеседника, – его любимая реакция на отношение к нему окружающего мира.

Оса попросил его уточнить.

– Да я же говорю – один хрен.

Осе это не понравилось. Оса с его деятельной энергией любил таких же – энергичных парней.

– Да мне один хрен – могу играть, могу не играть, – огрызнулся Макс.

Оса рассказывал эту историю направо и налево. Правда, только потому, что это была история с весёлым, хорошим концом. Когда Макс таки заиграл, Оса действительно понял – «один хрен»! Макс играл здорово всё, что играл. Однако «один хрен» прижился. И прилип к Макс. Он же, приняв это прозвище, носил его с рассеянной улыбкой. И если Женя, гитарист, ушёл из группы в первую очередь из-за обид на Осу, Макс покинул группу от отчаяния. Когда группы уже и не было.

– Макс! – позвал я его. Уровень громкости похорон возрос настолько, что мне пришлось повысить голос. Он обернулся на мой голос. Приподнял вверх руку, что означало: «Иду».

Мы втиснули друг другу ладони приветствия.

– Ты там был? – я кивнул головой в сторону морга.

– Да... А он что, расшибся? – из кармана куртки Макс достал сигареты.

– Почему? – я запоздал. Понял, о чём он спросил, только тогда, когда сам задал вопрос. И, боясь пояснений, оберегая психику Марианны, опередил его:

– Там так получилось... Это внутреннее, – не уточняя что, я надеялся на его, Макса, понимание.

– А-а... – протянул Макс, прикуривая.

– Пойдём, там родственники суетятся. Говорят, сейчас автобус подадут... И гроб выносить надо...

– Без нас вынесут... – мне не хотелось сновать между нетрезвым человеком. А мужчин, способных на физический труд, там хватало без меня.

– Вынесут, – равнодушно подтвердил Макс. – Ты на поминки идёшь?

Дались они всем, поминки эти...

– Надо. Я обещал...

– И я обещал, – не уточняя кому, произнёс он таинственно, как будто обещал он самому Осе.

– А Женя? – задал я Макс. мучивший меня вопрос. Женю я не видел, и мне не хотелось думать, что даже смерть Осы не искупила его вины перед Женей. Мне казалось, что в данном случае «смерть – всему голова».

– Я звонил ему, Серёга... Мне кажется, он не смирился с причиной. Знаешь, что он мне сказал? – Макс со свистом втянул последний дым сигареты, закурил вторую. Как будто оттягивал ответ на им же заданную загадку.

– «Допился», – он сказал...

Я подумал, что фактически Женя был прав. Только всем ли и всегда нужна эта правда? Причём правда поверхностная.

– Понятно... – отреагировал я. Действительно, чего уж тут непонятного. У Жени был папа-академик и единственная в городе гитара Ibanez мексиканского производства. В его картине мира пьянству давно был объявлен бой. Который, правда, даже не начинался по той причине, что в его картине мира этот противник отсутствовал.

– И добавил: «А я ему говорил»? – с неприязнью продолжил я.

– Серёга, а кто ему не говорил? Покажи мне пальцем...

И тут впервые подала голос Марианна.

– Я ему не говорила, – чётко выговорила она. Макс впервые взглянул на сидящую поэтессу.

– Это Марианна. Это Макс, – бесцветно представил их я.

– Я вас знаю, Максим. Да, не говорила. В Ромке что, было мало хорошего? Меньше, чем у нас с вами? А ведь все из его глаз соринки вытаскивали.

– Да мы же о нём и думали, – попытался возразить Макс.

– Как можно думать о других, если вы и о себе-то не умеете думать, ребята? Ромка вот так всё думал о других, и где теперь Ромка? О себе подумайте! О себе! – она даже постучала кулачком по лбу, очевидно для убедительности, умная поэтесса!

Покуда мы предавались таким разговорам, у похоронных скрипящих дверей стало происходить шевеление. Гроб вынесли и погрузили в автобус. Меня удивило, что под тяжестью Осы могут идти, неловко согнувшись, аж четыре человека. Они стояли потом у задней дверцы, куда вдвинули Осу, и растирали руки. Как будто в их руках несколько часов подряд трудился неутомимый и нелёгкий черенок лопаты... Хотя, если проследить цепочку, так оно и было в каком-то смысле. Здесь они тоже как бы хоронили Осу.

– Пора, – Макс одёрнул на себе плащ. Я поднялся со скамейки. Мы двинулись к автобусу. Подошли последними.

Автобус был укомплектован провожающими под завязку... Нам едва хватило места на ступеньках. Я на всякий случай прижался бедром к поэтессе.

– Все? – буднично, но, пожалуй, учтиво спросил водитель.

И все выдохнули: «Все».

Двери бесшумно съехались, и мне пришлось ещё потесниться. От волос поэтессы свежо и даже интригующе пахло шампунем, духами... сигаретами... Всем вместе. Весь остальной салон стремительно и неумолимо напивался перегаром. Мне стало неудобно перед родственниками Осы, несмотря на то что владельцем и производителем перегара я-то как раз не был. Шумная, нетрезвая и непутёвая молодёжь создавала в автобусе непрекращающееся гудение. Хорошо, что чужак с гитарой не поехал на кладбище. Наверное, я мог бы его ударить.

Когда водитель притормаживал на светофоре, молодёжь синхронно качалась в направлении движения. И притихнувший, осевший перегар вспархивал к потолку.

Мы заехали на кладбище, медленно проползли по размытой колее в его низкорослые кресты и памятники. Дёрнувшись – остановились.

Спрыгнув на землю, я подал руку поэтессе. Она, не ожидая таких галантностей, спрыгнула за мной и только потом протянула свою ладонь. Смутилась...

Неподалеку, специально заготовленная для Осы, виднелась яма. Яма не располагала к красивым словам и печальным мыслям. Я замёрз и почему-то чувствовал усталость.

Гроб с Осой погрузили на специальные козлы. Я услышал:

– Больше не будем открывать? – и не сразу понял, что это не о бутылках. Поняв, подумал: «Не надо». Вдруг водитель слишком резко притормаживал на светофоре и у Осы отвалилась голова? Я почему-то был уверен, что при вскрытии голову Осы отделили от тела, потом же пришили на место. А вдруг пришили ненадёжно? И я боялся, что все испугаются... Закричат. Мне было неудобно за всех остальных. И за Осу тоже. Как это он – без головы...

Больше и не открыли. И спустя минуту я уже жалел, что не попрощался с Осой, как мне казалось, должным образом... Не посидел с ним, не нашептал ему в ледяное, пластмассовое ухо, как нашептала Марианна.

Там, на дне ямы, земля с чавканьем всосала днище гроба. Встреча дна с дном... Наверх поползли грязные, коричневые от глины ремни. Их сматывали на кулак молчаливые молодые могильщики. Говорят, за свою траурную работу они получают весёлые деньги... Немудрено! Целыми днями примеривать на себя скорбные маски...

Из людских горстей повалились вниз липкие, бесформенные куски земли. Земля была мокрая, тяжёлая... Как-то не верилось, что она может стать пухом.

Мальчик лет двенадцати, пришедший с матерью, колебался – ему тоже хотелось бросить немного земли в яму, но ведь это могло быть взрослое, не мальчишеское дело. Секундное замешательство. Яма ждала. И мы ждали.

– Ну, Сева... Ну чего ты... – стоявшая рядом мать выдернула его из замешательства. Они были похожи, в том, что это мать мальчика, сомневаться не приходилось.

И Сева поспешно столкнул несколько комьев, ещё немножечко подкормив ненасытную, молодую яму. Насытят её немного позже всё те же молчаливые молодые могильщики с лёгкими, хорошо отточенными лопатами.

Пока могильщики сооружали холмик, облагораживали его песком, тёткин муж отошёл к автобусу. Достал картонную коробку оттуда же, откуда чуть раньше с кряхтением вытаскивали Осу. Взял коробку аккуратными руками. Поставил на козлы, на которых только что покоился гроб.

– Ну, разбирайте... – сказал громко и достал из коробки пластиковые стаканы. Так, будто все остальные закончили тяжёлую работу. А хотя как? Это и была тяжёлая работа, и такой работы хотелось бы как можно реже. Одной рукой он наливал в протянутую посуду, другой раздавал бутерброды всё из той же чудесной коробки. Когда понял, что бутербродов не хватает, авторитетно заявил: «Ломайте напополам». Когда все последовали его приказу, бутербродов оказалось гораздо больше, чем желающих закусить. Многие так и закусывали – половинка, а сверху – ещё половинка...

Я тоже взял стакан, подождал, пока тёткин муж накапает и в мою тару. Отошёл с Максом и поэтессой в сторонку. Отчасти из-за того что я был трезв и собирался впредь не пить сегодня, смешиваться с толпой мне не хотелось.

Макс держал стакан всей ладонью, как будто бы стакан был тяжёлым... Его алкогольная недоверчивость вызывала удивление ещё у Осы. Надо пояснить: если Женя выпивал осторожно, помалу и редко, однако добровольно, то Макса – Макса надо было уломать. Он махал руками, морщился... Придумывал обречённые на провал отговорки. «Тебе же один хрен», – веселился Оса. И только тогда Макс соглашался. Если прозвище прилипло, считал он, надо его оправдывать.

Я, пользуясь замешательством Макса, переселил свою водку в его стакан. Он даже не успел возразить. Потом поглядел на меня с непониманием.

– Тебе нужно, – пояснил я. – А я его уже помянул... В тот день ещё...

– Мне много, – попытался он возразить, на что я отреагировал, грустно улыбнувшись:

– Тебе же один хрен...

– Да, один хрен, – ответил он медленно и задумчиво. Скользнул взглядом куда-то вниз, вспомнив хорошее об Осе.

Я промолчал. Я тоже чувствовал себя так, будто выполнил тяжёлую работу. Аж подташнивало. Так, будто снял с души камень... Который потом хочу повесить на шею и утопиться!

Добрая Осиная тётка появилась со спины. В её значительной руке колыхалась початая бутылка:

– Мальчики, – говорит, – кому добавить? Серёжа, можно вас на минутку? – и сделала пару шагов в сторону. Нет, с её полнотой, не сделала пару шагов – отколыхнулась, как ударившийся о кранец катер.

Я снова испугался вопросов.

– Вот деньги, – она протянула много, я даже не стал считать. – Я поминки сделала человек на двадцать. Дура. У Ромки столько друзей. Мы не можем всех разместить... Может быть, они так помянут. Я и не знаю, как сказать... Ой, как неудобно... – тётка Осы была простой и удобной в общении. Вероятно, она всегда говорила и делала то, что думала. И каким-то образом у неё в душе возникла благодарность к Ромкиным поклонникам и друзьям. И в отличие от моей антипатии, её чувства были естественнее и добрее.

– Подождите, – я отстранил деньги. – Разберемся.

– Серёжа, вы только не гоните их, объясните... – и она опять принялась совать купюры мне в руку.

– Подождите, – повторил я. – Если будет надо...

К счастью, она согласилась с тем, что если будет надо... Не будет. Не надо!

Я вернулся к Макс. Марианна честно уничтожала микроскопическую поминальную свою долю – пила, как птичка. Но пила...

Пластмассовые стаканчики, вернее их содержимое, как-то сплотили, упорядочили разношёрстных представителей человечества. Пришедшие разделились на три группы... Сплотились в три группы. Родственники и две команды друзей, которые никак не могли слиться в одну. Я подошёл к двум последним, встал между ними. Среди них были общие с Осой наши знакомые, не близкие, но известные мне люди. Я позвонил им, объяснил ситуацию. Все они, конечно, всё поняли... Двинулись к своим компаниям.

Денег не понадобилось – вокруг Осы хоть и вилась всякая нечисть, но по большей части это были в чём-то заблудившиеся приличные ребята... Для закрепления договора я сунул каждой группировке по бутылке, что с разрешения тётки взял из картонной коробки.

Я подошёл к вновь образовавшемуся холмику. На Ромкину могилу нечисть поставила несколько свечек, среди которых мной была замечена одна – фигурка из раскрашенного воска в форме собачки. Такими собачками торгуют лоточники под Новый год... Эта собачка тоже наверняка выжила после новогоднего праздника и сейчас таяла в конце зимы по другому, неведомому поводу.

И сейчас вдруг собачка эта сделалась для меня той клавишей, кнопкой, которую я боялся нажимать, потому что за этой кнопкой – слёзы... Я молчал, всё ещё надеясь, что лицо не выдаст меня, но рот кривился, и глаза становились тяжёлыми и мокрыми... Я опять вспомнил Дейзи, Ромкину собаку.

«Дейзи, иди, я тебе коготки подстригу...» Нет, вы понимаете: «коготки»! Хотелось объяснить, да что объяснять, кричать собравшимся. Вот причина моих почти слёз: только лишь «коготки»! Это поверхностно и сентиментально... Хотя никто бы ничего не понял. Да и слёзы тут же отступили. Оказались лишними и никем не замеченными. Двадцать пятым кадром...

Глина и грязь, цветы, свежий песок... Вот эти свечки. Люди. Этого всего уже было слишком много для меня одного, чтобы сдерживаться. Захотелось выпить, я знал: выпить – равно успокоиться. Но позволить я себе этого не мог. Из уважения к Осе, конечно.

– Я не поеду... – тихонько шепнул мне Макс, когда стали загружаться в автобус.

– Нет, – говорю, – поехали. Я и так чуть ли не единственный... А тебе ведь один... – я не закончил и даже немного улыбнулся.

– Ладно, поехали...

Марианна распрощалась с нами раньше. «Всё, – сказала. – Спасибо вам, ребята»... Хотела ещё что-то добавить, но многословность на кладбище как-то не приветствовалась. После её ухода рядом со свечками появился поцарапанный синий медиатор. Наверное, частичка их несовместной жизни... Но совместной памяти. «Молодец, анемичная поэтесса. Я даже не удивлюсь, если ты пишешь стихи, не рифмуя при этом глаголы!»

Обе компании, объединившиеся в одну и снова поделившиеся на группки, в автобус не полезли... Верное решение.

В автобусе я наконец согрелся. Тётка Осы объясняла, как проехать. Немногословный водитель кивал, не оборачиваясь.

Тётка Осы и её муж жили в частном секторе, у М-ской, на холме. Большой двухэтажный дом охраняли ленивые собаки. Кроме самого вида своего, других охранных функций собаки не несли. Не лаяли. Не кусались... Когда многочисленная толпа высыпала им навстречу, собаки поджали уши и замахали толстыми хвостами, надеясь на угощение.

Именно такие беззлобные собаки и должны были быть у Осиней тётки. Непонятным образом хозяева обычно проецируют на своих домашних любимцев собственное мировосприятие.

Ожидая, когда гости разденутся в тесной прихожей, мы с Максом гладили собак и трепали их жирные, в складках, холки. Потом, когда всё уgomонилось, прошли в дом.

Частный сектор в М-ске – всегда эклектика. В основном объясняющаяся даже не доходами, в первую очередь – образом жизни хозяев. Доходы – вытекающее из образа жизни следствие. Архитектуру, как и здоровье, губят одинокая старость и алкоголь.

Каменные дома, такие себе миниатюрные дворцы, могут соседствовать с халупами... И никому нет дела до того, что творится у тебя за забором. Хотя я, наверное, перегнул... Может быть, это только ощущение. Или отчаяние что-то изменить в чужом королевстве?

Тётка Осы и её муж жили плотно. Как говорят о тех, кто хорошо поел. Плотно. То есть не обжираясь... Ковры, телевизоры в каждой комнате. Книжный шкаф, дающий приличное представление о советской литературе. А дом – деревянный, старой постройки... Штакетины забора – как палочки в прописи подготовишки...

Тётка Осы работала кассиром на автовокзале. Муж её, со звонким именем Георгий, заведовал бригадой строителей. Как это ни было странно с таким-то забором. Серые глаза без оттенка, татарские скулы, вислые усы запорожского хитрована... Плохо выбритая, бурая шея. На худой шее – поршнемдвигающийся при каждом глотке кадык.

Был сын, двоюродный брат Осы, но женился где-то далеко от дома. Приезжал редко и запланированно...

Эта информация вливалась в меня по мере алкогольных возлияний остальных, а пока мы с Максом, опровергая поговорку, пытались усидеть на двух стульях, забравшись на середину длинной доски, положенной на две табуретки.

На телевизоре, прямо напротив нас, поместился чёрно-белый Оса с траурной каёмкой внизу фотографии. Рядом – накрытая кусочком хлеба рюмка... Родственники даже после его смерти добивали Осу алкоголем. Что это? Простодушие на грани идиотизма?

Я решительно прикрыл стопку ладонью, когда принялись наливать. Сослался на неотложные дела вечером. Заслужил напополам с непониманием капельку уважения.

– Роман, – встал тёткин муж, когда все притихли. Сама тётка, очевидно, боясь заплакать, в замешательстве комкала платок.

– Роман, – повторил он громче, – был ответственным парнем. Это вы и сами знаете. Просто вот так получилось. И это урок вам, молодёжь, – он посмотрел на пацана Севу, потом на меня. – Земля пухом...

Мне вспомнилась земля, которая летела в яму на кладбище.

Ели молча. В воздухе словно повисла какая-то струна, которую боялись затронуть даже голосом. Брякали о тарелки ножи, звякали стаканы...

– Наливайте, – скомандовала тётка низким, упавшим голосом.

...В комнате сделалось душно. Неизвестные мне женщины приносили кастрюли дымящейся картошки, варёное мясо на огромном металлическом блюде... Тётка Осы оплыла лицом от слёз и усталости. Я знал: первая часть поминок всегда горька и тяжела. Когда количество выпитой водки умножится, начнётся часть вторая – воспоминания.

Мне хотелось курить. Стиснутый между Максом и незнакомым мужиком в свитере с оленями, я не знал, как выбраться из духовки. Помог тёткин муж. Скомандовал перекур...

Так и вылезали – свитер с оленями, потом я, Макс за мной... Между сервантом и спинами сидящих протискивался Георгий – тёткин муж.

Мы вышли на крыльцо. Толстые собаки снова приветливо зашевелили хвостами. Вот там-то он нам и представился, Георгий. Свитер с оленями протиснул мне руку, пухлую, как сдобная булочка:

– Дмитрий...

Свитеру с оленями было лет сорок...

Закурили. Весомое, неудобное молчание нарушали скрипы крыльца под ногами...

– Как работа, дядя Жора? – свитер с оленями осторожно пересёк границу тишины. Георгий затуманил лицо глубокой затыжкой. «Беломорина» даже подсветила его скулы и рот...

– Работа до пота... Весна придёт – вообще про дом можно забыть...

– Зато капуста... – заметил Дмитрий.

– Да что капуста... Капуста вон в огороде, – неприязненно оборвал Георгий.

Дмитрий натужно хохотнул.

– Я вот у него хотел спросить... – он кивнул головой в мою сторону. И я догадался, что он хотел спросить меня уже давно... Может, с самого утра. И отложил вопросы только потому, что с алкоголем их будет проще задавать. И проще получать ответы.

– Ты мне скажи, друг дорогой, когда вы работать будете? – мне показалось на мгновение, что этот человек знает обо мне всё... Настолько он был уверен в себе, задавая вопрос. Да и вопрос-то был – не просто вопрос, наскок!

– Ну это моё дело, – отдал я недоверчиво. Потому как я не люблю наскоков. И общих вопросов я тоже не люблю. Типа: «Когда вы жить нормально будете?» Сегодня! В семнадцать тридцать или девятнадцать ноль-ноль. Да и само понятие нормальности – общее понятие.

– А ты не отмахивайся... – полез он опять. – Мы вот тут с Ромкой вот так года полтора тому сидели. Он водочки рванул и заладил своё: «рок-н-ролл», «рок-н-ролл...». А я ему – «Ромик, освой профессию. А потом играй рок-н-ролл...» Знаешь почему? С профессией ты никогда никому должен не будешь. Что, думаешь, он мне про свободу не говорил? Говорил! Свобода – это когда ни у кого ничего просить не надо? Понял?

– Пожалуй, – ответил я осторожно.

– Ты у него дома был? – продолжал он, потом вспомнил: – А, ты же да... – он помялся. – Ну, значит, был. Носки, бутылки... Бабу некуда привести. Это что – свобода? Я ему сказал, а он опять своё – «стихи, стихи... Рок-н-ролл». Думаешь, я считаю, что стихи – плохо? Да ничуть... Плохо, когда ими оправдывают своё безделье... Я и про Машу знаю. Знаю, как к ней Роман относился... – Марианна на деле оказалась Машей. Значит, я не ошибся в твоей экстравагантности, поэтесса. – Заладил одно: «Она ангел, а я...» Ты приведи свою башку в порядок. И дом в порядок! И не будет «а я»... Талантливый же парень!

Знаешь, почему вот этот мой племянник про капусту со мной начал? – он едва не ткнул папиросой в Дмитрия. – Потому что он у меня денег взял на машину. Для работы, говорил... И что? Машина есть, а работы-то пшик! Вот и твердит: «Отдам, отдам»... А с чего?

– Дядя Жора, – укоризненно пробормотал Дмитрий... Затушил сигарету в консервной банке.

– О, видишь, обижается... А должен я на него, – продолжал он уже вслед закрывающейся за Дмитрием двери.

– Я вот – детдомовец. В Пскове родился. Родителей в войну поубивало. Так? Вырос – комнату дали в общежитии. Потом армия. А что комната? Жениться надо, детьми обзаводиться. Нам это и в детдоме в голову вбивали. Заботились о населении. На завод пошёл. Денег мало – но руки на месте, да и голова вроде бы... А то, что голодранец, – погоди... Пошёл к мастеру – где денег взять? А он мне: «Учись. Будет образование, будут и деньги»... Подумал я, собрал вещички и поехал в Ленинград – учиться. И вот там-то меня, друг дорогой, и проняло. Ага! Я, дурак, вдаль смотрел, а надо бы и вширь! Две руки есть, две ноги. Голова – одна, а возможностей – тысячи. Я тогда понял то, что мало кто понимал... А сейчас – подавно. Я понял, что я могу идти – куда захочу! Это – свобода выбора, друг дорогой. Сдал экзамены – и станю кем угодно! Ты не понимаешь, – отметил он с досадой. – Кем хочешь! Хоть космонавтом! И всё зависит от твоего желания. Я – в Макаровку. Но там конкурс, а у меня – восемь классов. Так? Подумал – помозговал... Плавать хотелось. Устроился плотником в «Арктики и Антарктики»... Поступил на заочку! Потом радистом в Певек, по распределению. Деньги

нормальные, плюс северные... Но, скажу тебе, скучно... Я до тридцати капли в рот не брал. И сейчас – только по праздникам. – Я не стал спрашивать, что за праздник сегодня. Вполне обычная оговорка. – В общем, надоело мне... А тут приятель один – давай, говорит, ко мне. Ему механик был нужен. Он на МРБ в Белом море ходил... Я чего? Деньги нормальные? Да, говорит. Я туда. Ну по деньгам – не Певек, конечно... Общага, туда-сюда... Тоже надоело! Но Ленинград меня научил: возможностей – море! Я рюкзачок собрал, с приятелем попрощался и на вокзал. А у меня уже азарт! Что-то интересное найти. Чтобы не каждый день по звонку! Потом – геодезистом под Ленинградом. Дорогу строили. Лето, жара... Ребята все молодые... Думал осесть в Ленинграде. А тут разнарядка пришла... Кто на юг хочет? А кто ж не хочет? Я в первых рядах. А мне уже тридцать. Жениться пора... – он перевел дух и поглядел на меня. – Понял? Нет? Дальше рассказывать? – он усмехнулся. – Спускаюсь по карте все ниже. К экватору, – и затушил очередную «беломорину». По тому, как у него во рту появлялась папироса за папиросной, гильзы окурков впору было называть не папиросными – пулемётными.

– Ты что-нибудь понял, друг дорогой? Я мог бы так в Пскове и сидеть, плотником. А вы, как мартышки, заладили: «рок-н-ролл, стихи»... Играетесь, как котята... А дальше Краснодара жопы не подымете... Стихи тоже на месте сидеть не любят, – закончил он почти миролюбиво.

То, что он кое в чём прав, я понял сразу. Но про жопы он был прав вдвойне, а про стихи – так это просто сентенция.

– Понял... – высокомерно ответил я и тут же пожалел. Высокомерие рождалось трезвостью, а сегодня трезвость – не норма жизни. Да и не столько пьян был тёткин муж – разгорячён, да...

Он говорил правду: не декларируя, даже стесняясь этого, мы все тряслись о своём благополучии. Мы отказывались от жизни, если она была горькой на вкус. И мы, да, как мартышки, заладили: рок-н-ролл, стихи... Мы хотели быть героями, но в мягкой, приятной форме. Музыка... Поэзия. Под танки никто из нас бросаться не собирался. А если и проскакивала эта мысль – нам было лень идти, записываться, куда-то ехать...

У меня был один знакомый. Лет сорока с куцым хвостиком. Сосед по дому, потом они переехали... Пару раз мне довелось с ним выпивать. А воевал сосед в Сербии, на её, Сербии, стороне! Добровольцем. Поджарый, с сухими, сильными мышцами, он сидел за столом, голый по пояс. Между нами торчала то ли вторая, то ли третья уже бутылка... Его ежедневный рацион. После полбутылки и до открывавшейся третьей его было интересно слушать. Он рассказывал про войну, про сербские обычаи, про кровожадность мусульман и про сербскую ответную кровожадность. Много – про природу Сербии... Ему удавалось написать Сербию избранным Богом, благословенным краем. Ещё язык – лишённый русской певучести, угловатый... И очень красивый в то же время... Но странно не это, странно то, как я чувствовал себя с этим человеком. Я был не нюхавшим порошу и кулака пацаном, желторотиком. Хотя сам рассказчик, прерываясь и наполняя рюмки, всё время говорил обратное. «Хороший ты, – говорил, – парень. Молодец!» Я-то знал, что никакой я не молодец. Очарованный его рассказами, я тоже должен был идти в добровольцы...

Всё остальное – геройство в мягкой, как туалетная бумага, уютной форме...

Георгий? Георгий попал! Из всей нашей рок-н-рольной братии он и выбрал самый верный объект для огня. Самым верным объектом был я! Макс – нет. Макс не мечтал быть героем и любил музыку. Музыка была его целью, для меня – средством... И я не знал, средством для достижения чего!

– Ну думай, друг дорогой, – хлопнул меня по плечу Георгий, закапывая в горе окурков ещё одну папиросу.

Мы с Максом остались на крыльце.

– Забей, – отозвался наконец он. Что-то заметил, значит, по моему лицу.

– А чего, Макс? И тебя задело? – задал я вопрос, в котором Макс почему-то не прочитал издёвки.

– Нет. Если бы меня задело, я бы что-то изменил...

– Намекаешь?

– Намекаю... – Макс посмотрел вдаль, обернулся и, минуя мой взгляд, направился к двери.

Я не пошёл за ним. Я смотрел на уплывающие вдаль холмы, на дома, сползающие вниз по горбатой улице...

– Кончается зима, – пробормотал я. И мне самому, как со стороны, почудилось, будто этими словами я подвёл какой-то итог. Было тихо. Из дома доносились приглушённые звуки застолья. В остальном – было тихо. Мне захотелось закричать – разбудить спящие зимой холмы и пространства... Людей и собак... «Кончается зима» – это снова жизнь и надежда. Это новорождённая зелень холмов. Это тысячи и тысячи новых любовей, песен и расстояний... Накопленные за зиму питательные соки прорастают весной.

Я не торопил весну – я ничего не накопил за зиму... Мне нечего было отдать весне, потому как я был пуст – как барабан или безъязыкий колокол. Никаких любовей... Песен. Расстояний.

Я подвёл итог, и мне стало не по себе. Мне казалось, что если я закричу – меня никто не услышит.

Георгий говорил другие слова. О другом. Но, сам не зная того, пусть боком, рикошетом, задел то, в чём я не признавался даже самому себе. Он обвинял меня в безделье, но на это у меня нашлись бы десятки объяснений. Обвинение в безделье же родило во мне другое, более глубокое обвинение – в бездействии! И возражений на это я не находил.

Я открыл дверь. Пространство за ней вернуло в реальность голосами и запахами пищи. Потоптавшись в прихожей, я заметил свою куртку, горбатившуюся поверх чужой одежды. Я говорил – мы с Максом зашли последними.

Я протянул руку. Сдёрнул куртку с вешалки. И, всовывая на ходу руки в кожаные рукава, пошёл вон из этого дома – виноватым.

Минута на сборы

Катя позвонила мне накануне похорон. Справлялась о дате и грустно оправдывалась, что не пойдёт. Потом поинтересовалась, доел ли я котлеты. «Да, которые в латке». Завершила интригующим и непонятным: «У меня всё по плану!» Что за план? Так, погоняв по телефонным проводам холостые слова, повесили трубки.

Я обещал ей не звонить и думал, что мне удастся это без труда и осложнений. Сейчас, вернувшись с поминок, меня так и подмывало набрать её номер. Объективных причин для этого не было. Больше всего на свете я боялся делиться с женщинами своими слабостями. Поэтому тут же отшвырнул за шкуру неумную идею звонка. Тут Катя не в помощь.

Выходя с поминок я, кажется, хотел что-то сделать. До автобусной остановки добирался быстрым шагом, потом побежал, насколько это позволяла раскисшая погода. После – взлетел! Ага! В том-то и дело, что никуда я опять не взлетел, вдавливаясь очередным пассажиром в тесноту часпикового автобуса.

Оказался в ненужном месте в ненужное время... Чтобы посредством автобуса оказаться в ещё одном ненужном месте.

Я хотел что-то сделать... Я, дурак, вдаль смотрел, и вдруг захотелось вширь – о, как проняло!

Улица давно стемнела, а я, не раздеваясь и не зажигая свет, ходил по комнате. Сидел на кровати. Если я разденусь или хотя бы включу лампу, беда, происходящая со мной, рассеется. Включу лампу – точно сниму куртку и ботинки. Ну а сниму куртку – ещё вернее включу лампу. Беда, происходящая со мной, рассеется. «Сделай ещё больше... Хорошо будет», – шептали мне её губы, и я делал ещё больше. Она всегда знает, о чём говорит.

Я рывком открыл ящик письменного стола. В нём лежали документы. Паспорт, конечно, сверху. Жалкого уличного фонаря было достаточно, чтобы не растеряться в темноте.

В паспорте – пластиковая карточка с моими деньгами. Капиталами. Финансовыми излишествами. Да и деньги за Краснодарскую квартиру семейная пара перечисляла сюда же.

Сунув паспорт в карман куртки, я загрохотал ключами. Хлопнув дверью, засвистел, перевирая мотив... «Прощай, прощай... Уходят поезда. Мы расстаёмся навсегда под звёздным небом января». Я нарочно придумал свистеть именно её – жестокая песня удерживала от обдуманных и оттого неверных шагов.

Вокзал был практически пуст. Редкие шаги и голоса гулко взлетали к потолку. Когда кассирша ответила мне: «Есть на завтра и на двадцать седьмое», – я всё-таки струсил.

Двадцать седьмое – это почти через неделю. Это лишние объяснения не только с Катериной, но и самим собой. «На завтра» – это чересчур. Это слишком. Это быстрее, чем я ожидал. Надо подготовиться! Поэтому я негромко и вежливо произнёс:

– На завтра, пожалуйста, – и протянул в окошко деньги.

– Проверяйте: плацкарт... Санкт-Петербург... время прибытия... – начала повторять она сквозь стекло, и от её равнодушных, металлических слов мне стало свободно и почему-то жарко. Мягкими от волнения, жидкими руками я принял из окошечка паспорт. Из него, неоспоримые, торчали корешки билета. И они были реальнее, чем все мои порывы и страхи, которые я в конце концов мог развеять и развенчать. Порывы и страхи задокументированы. А слабостями документированными разбрасываться я не привык.

Основного мотива моего поступка назвать я не мог. Дополнительными служили вот какие: в Питер меня звали давно. Когда Оса и его команда были на равнине популярности (по аналогии с вершиной, так и не достигнутой), нам посчастливилось участвовать в сочинском рок-фестивале. С нами вместе хотели прославиться ещё десятка два групп. Среди них – питерские «Панацея» и «Люляки-Бяки». Вторая даже благодаря названию претендовала на широ-

кую известность, ведь у них, музыкантов, как: нелепость названия – почти непереносимое условие образования группы. Откуда это пошло – не знаю... Скорее всего, от старших братьев по шестиструнному оружию. У тех – нелепый симбиоз Хармса и отрицания советской власти... Посредством абсурда.

В общем, те ещё были ребята. Сперва все хотели быть лучше других, а потом выпили и познакомились. Питерцы продемонстрировали частичку столичного снобизма и любовь к крымскому крепленому. С повышением внимания ко второму первое вдруг, к нашей радости, стало убывать.

Питерцы оставили мне свои телефоны... Шесть или семь. Все телефоны я аккуратно занёс в записную книжку на букву «п»... Пискунов, Передерин, Пеева, Питер... Дальше двое-точие – и номера с именами.

Питерцы обещали, что найдут, где остановиться. Причин не доверять питерцам или не верить их словам, орошённым крымским крепленым, у меня не было. Питерцы оставляли впечатление надёжных людей. К тому же добавляло моего доверия к ним и то, что они были постарше. Когда тебе за тридцать, даже орошённые крымским языки научаются контролировать себя.

Я не стал звонить им сейчас. Опять ненужный риск отложить поездку... Уж где-где, а в Питере, мне казалось, я не пропаду.

Довольный сделанным, выйдя с вокзала, я закурил... Что ещё? Катя, конечно... О Кате я старался не думать, поэтому она и оставалась главным препятствием, которое я пока смог преодолеть... Оставить ей записку? Позвонить? Глупо! Написать письмо? Да, написать... И от этого решения стало ещё легче.

Сидя в автобусе, я то и дело засовывал руку во внутренний карман, шупал паспорт, натыкаясь пальцами на корешок билета. Как будто трогал свою будущую судьбу... Пусть даже в бумажном её варианте.

Вернувшись в квартиру, я наконец разделся. Поставил чайник. Достал с антресолей сумку, с которой, кстати, и ездил на тот фестиваль. Поймал себя на том, что не знаю погоды в Питере. Условно обозначил – зима.

Бельё. Зубные принадлежности. Складывая вещи в сумку, я мысленно одевал себя – что бы я надел при минус десяти? В сумку! Что бы изменил в одежде при нуле? Туда же... Всё равно сосредоточенность не приходила, пока дурацкое, лживое уже одной перспективой существования письмо не было написано.

Я несколько раз садился, озадаченный, но снова продолжал кидать вещи, откладывая гнусную перспективу...

И тут, открывая очередной ящик комода, я натолкнулся на её тряпочки... Верхнюю одежду она у меня не хранила. Только то, в чём ходила дома. Естественно, бельё. Невесомые, полупрозрачные тряпочки, чёрные в основном, были сложены зыбкой стопочкой. Начатая упаковка прокладок рядом... Какие-то кремы. Похожие на упаковки презервативов одноразовые пакетики интимной смазки. Противозачаточные таблетки, от которых у меня терпимо щиплет... Мне никогда и в голову не приходило так заглядывать в её ящик. В этом её порядке угадывалось даже какое-то отношение ко мне. Стирала тряпочки, сушила зимой над радиатором, складывала ровненько. Мне показалось, что даже выстиранными тряпочки пахнут как-то по-Катиному, хотя скорее всего это был едва уловимый запах то ли крема, то ли стирального порошка... То ли женского уюта. И мне впервые стало её жаль. Но не ту, которая ушла. Ту, которая, может быть, захочет вернуться!

Я долго и тупо сидел перед чистым листом. Боясь написать что-то не то, не портил бумагу. Потом решил вопросом нейтральным: «Катя! Пришлось уехать. Если что-то надо, ключи у Валериков»... Валерик – сосед по лестничной площадке. Ключи останутся у него или его жены, которая с лёгкой Катиной руки (языка!) тоже зовётся Валериком. Есть Валерик-муж, и есть

Валерик-жена. По-настоящему она Алла. Они жили беззаботно, как дети, трахались так же беззаботно, но уже как кролики. И то и другое мне было доподлинно известно. Детей же не заводили как раз по причине того, что ещё хотели быть кроликами. Главное, думал я, что скорее всего Валерики ими и останутся.

Нейтральное решение было хорошо тем, что оставляло путь к отступлению.

Валерики слушали шумную музыку. Валерик-муж, кивая головой в такт, забрал второй, Катин, комплект ключей. Я объяснил ему, что к чему, не называя конечного пункта.

– Надолго? – спросил он напоследок.

– Не знаю пока, – ответил я. Я говорил чистую правду. Этот же вопрос я задавал сам себе, и ответа у меня не было.

Когда Валерик захлопнул за мной дверь, мне стало весело. Потому что ещё один шаг отсюда уже был сделан...

Вернувшись, я почувствовал голод. Разбил в чашку пару сырых яиц, накрошил остатки хлеба. Сыпанул добрую щепотку соли. Выпил всё это... Обстоятельный ужин не попадал в жизненный ритм сегодняшнего вечера.

Сборы... Сборы... Сборы.

В нижнем ящике стола, запертые в темноте, хранились слова. Непредъявленные доказательства моей состоятельности. Эти слова, сложенные в рассказы, были, возможно, главной моей ценностью. И на севере эти слова должны будут складываться лучше, а главное, чаще! Я не мог знать, почему это должно произойти, я это чувствовал.

Я нежно извлёк слова из темницы, нашёл для них прозрачную пластиковую папку. Вдвинул папку в боковой, на надёжной молнии, карман. Толстенькая папка даже придавала форму всей сумке! Слова придавали сумке форму! Вот что значит применить слова не по назначению.

На севере меня пугала зима. В М-ске, когда слякотная зима зашкаливала вдруг за минус, я щеголял в ватной телогрейке, если модным словом «щеголять» можно назвать прогулки до ближайшего магазина. В основном же сидел дома и глотал обжигающий чай, глядя на приятный взору заснеженный двор. Мне думалось, что ватная телогрейка в культурной столице – явление исключительно провинциального характера, мне же не хотелось изначально вешать на себя компрометирующие ярлыки. Мёрзнуть не хотелось тоже. Поэтому я сунул телогреечку в пакет и приторочил верёвочкой к сумке. Я надеялся, что пользоваться ею не придётся.

Что ещё?

Выключить холодильник, отправить письмо, ещё кучка мелочей... Поезд из Краснодара уходит в половине третьего. Значит, с утра на автовокзал, на рейсовый автобус... Я кинул сумку на диван, зачехлил обязательную гитару. Окинул взглядом комнату.

Ласковый свет настольной лампы мягко растворялся в общей полутьме. Я так и не включил общее освещение. Лампа предлагала любимые развлечения... Стихосложения на тему зимы с непременным рисованием на полях тетради профилей, обычно глядящих вправо, примитивные аккорды любимых песен... Негромкое голосовое сопровождение, которого я не стеснялся только наедине с собой... Будь я не один – полные ладони Катиних форм и полная свежего пота сонливость после. Все те вещи, которые со временем довели меня до отчаяния в них, в этих, казалось бы, чудесных вещах.

Я опять и опять возвращался к сказанному Георгием. Что я нашёл в его словах такого, чего не знал раньше? А в первую очередь то, что он отчитал меня, как мальчишку! Мальчишку, который и знал, что «нельзя» – но тут ещё и понял! Остальные его аргументы в пользу моей несостоятельности были не столь болезненными. Себя надо доказывать, а об этом я как-то позабыл. Своё существование надо оправдать, и не об этом ли твердил я другим? Как сказала умненькая анемичная поэтесса: «Вы всё из его глаз соринки вытаскивали»... Это она про Осу. Я – в последнюю очередь про него. Я его хотя бы понимал. Из других, менее близких глаз я добыл столько сора... Я издевался над менеджерами и водителями. Продавцами бытовой тех-

ники и страховыми агентами. Я не любил рабочий люд... Хотя, да, не каждого персонально. Но кем был я, чтобы его, люд, не любить? Бревно в моём глазу мешало мне видеть. Я не собирался отказываться от нелюбви к менеджерам – я решил заработать себе право их не любить!

К этим умозаключениям я пришёл во втором часу ночи. Я сформулировал цель, и сон, здоровый и глубокий, перестал вдруг быть нужным и привлекательным. Мне захотелось отметить отъезд.

У меня в кухонном шкафу, не забытая, но неприкосновенная пока, стояла бутылка французского шампанского. Шампанского из провинции Шампань, той самой... Бутылку эту Кате подарил обожатель. Все праздничные события были ей, бутылке, не по рангу. Она ждала события чрезвычайного.

Я достал бокал, взял из шкафа бутылку. Она была испачкана в муке и сахаре – так долго она ждала. Я решительно сорвал фольгу и несколько раз повернул ключик проволоочной сеточки. Ладонью поймал деревянную пробку, чтобы она не выстрелила мне в глаз.

Из горлышка показался лёгкий дымок, напоминающий дымки дульных пистолетов в кинокартинах.

Я ещё раз порадовался, что поймал деревянную пробку. Иначе она – Катя – выстрелила бы мне в глаз и из шампанского пистолета показался бы лёгкий дымок. Катя была бы права, но я стрелялся на своих, нечестных условиях...

Шампанское было кислым, но вкусным. Я выпил за нас с Катей! За то, что мы избегали слова «люблю».

Жалость, рождённая цинизмом, нелепа. Но я вдруг представил её, решившуюся на поступок, читающей моё безвкусное, как сухая галета, письмо. Может ли она заплакать? Впасть в недоумение – это да. А заплакать? Ведь я никогда не видел её такой! Не то что плачущей – растерянной! И может, именно её растерянности мне и не хватало, чтобы произнести обязывающее уже слово «люблю». Мир слишком огромен, чтобы ко всему относиться со знанием дела, растерянность же порою делает нас человечнее...

«Обожатель был прав, – размышлял я, покачивая бокал, делая маленькие колючие глотки. – Вот сию, пью его вино, прощаюсь с Катей... Уступая ему место»... Обожателя я не знал. Ей, Кате, вообще впору создавать общество анонимных обожателей, поэтому про место я погорячился.

Как мало надо сделать, казалось мне, чтобы почувствовать жизнь острее. Купить билет до Питера и открыть бутылку шампанского... Но это в такой, мягкой, как туалетная бумага, форме...

Проснулся я по будильнику. Вчерашний ветер распугал дождевые тучи, и, пусть низкое, солнце делало пробуждение лёгким и радостным.

Я спешно позавтракал, подымял под чашку чёрного кофе. Постоял под горячим душем. Перепроверил собранные вещички, документы, деньги. Одобрительно улыбнулся собственному отражению в зеркале. Внимательно оделся, закинул на плечо нелёгкий мой скарб, на другое плечо надел гитару... Хлопнул дверью, чиркнул ключом... Гуд бай! Оставалось зайти на почту. Походка моя, как и сегодняшнее пробуждение, была лёгкой и радостной...

Северный поезд

Высоколобый, вместительный, как школьный пенал, рейсовый автобус с маршрутной табличкой «М-ск – Краснодар» отходил через несколько минут. Молодой водитель кавказской внешности курил в приоткрытое окно кабины, отчего в салоне к запаху нагретой пыли и специфическому – дерматиновых кресел – примешивался лёгкий табачный аромат. В итоге выходил тошный сладковатый запах – характерная черта местных автобусов.

Заняв своё место, я наблюдал за добивающим мелкими затыжками бычок кавказцем и размышлял о конечной цели моего путешествия. Вернее сказать – размышлял об отсутствии этой конечной цели. Да и путешествие больше походило на бегство. Разница именно в наличии конечной цели – путешествуют «туда», а бегут всё-таки «оттуда»... И в моём положении даже «бежать» было хорошо.

Когда здание автовокзала, вздрогнув, чуть сдвинулось и поплыло, как переводная картинка в блюде воды, потом стало поворачиваться вокруг своей оси, обозначив поворот руля, возвращение стало невозможным. На самом деле невозможным оно стало немного раньше – когда я выписал Катин адрес на глупом конверте, которому предстояло совершить невероятный спринт, оскорбляющий само понятие почты. Конверту предстояло путешествие в пять автобусных остановок. Да и ладно... Я мог бы забросить конверт сам, но риск встретиться с Катей и её родными, с неприветливым отчимом особо, пусть и не большой, но был.

Автобус тем временем, потыкавшись по городу, выехал наконец на трассу, где взгляд скользил по пейзажу, как конькобежец по льду. Где зацепиться взгляду было не за что. Дырявые силуэты деревьев придавали серым полям ещё большее ощущение бесконечности и монотонности.

Я положил руки на упакованный гриф гитары, стоящей между ног, и всё возвращался мыслями к Георгию. Получается, что он был прав, обращаясь ко мне? Значит, и он слышал исходящую от нас безнадёгу? Я не хотел закончить, как Оса, но я и не начинал, чтобы что-то заканчивать... Мне вспомнилось Ромкино стихотворение, вернее его начало:

Исторгнуть червей и желчь
На мраморный пол. Поджечь
Тяжёлые шторы в доме.
Наружу от этой вони
Бежать в потемневший воздух...
Лежать и глядеть на звёзды...
Потом в полуночном баре
Запоями пить, скандалить,
По аду ходить кругами,
Блядей избивать ногами...

Продолжения я не помнил, не исключено, что никогда и не знал. Даже удивительно, что сконструировал в памяти этот кусок. Оса таки закончил то, что он начинал... Свой такой уход он прогнозировал десятки раз в не самых плохих своих стихах, поэтому как-то получается – подтвердил! Хотя ногами он мог избивать разве что самого себя... На что-то живое у него не то чтобы нога – рука не поднималась.

Пока я так размышлял, нудный даже в солнечном свете пейзаж разбавился бурой, щербатой по берегам рекою, где плавали какие-то объёдки зимы – доски и полиэтиленовый, надутый ветром пакет.

Я пытался думать о будущем. В ближайшем – мне предстоит два дня поезда и куча суеты, придуманной мною же. Кому-то забытому звонить, договариваться... И пытаюсь соорудить будущее, я незаметно вязнул в недавнем прошлом, непременно возвращаясь к Катерине. В это время она делала свой выбор, не подозревая даже, что выбор её стал совсем не важным, что выбор сделали за неё. Но я тоже хотел иметь право... «Ага, вот с такой формулировкой я и жил – поймал я себя. – Хотел иметь право...» Не надо хотеть. Надо это право иметь! А что бы было, когда б она не приняла решения? Мы бы не разбежались! Мы бы и дальше продолжали эту недосемейную чушь, только с ещё худшим, попахивающим гнильцой подтекстом. Нет, Катя, нет! Кто-то должен был дёрнуть этот стоп-кран, и дёрнуть как можно раньше, пока поезд ушёл не слишком далеко от станции...

Так твердил себе я, разглядывая безликие и бесцветные картинки, сопутствующие передвижению. «Передвижение рождается от перестояния», – подумал я и улыбнулся.

Плацкарт. Маленькое моё жилище на два дня – маленькое, как тетрадная клетка. Выпрямиться невозможно – голова упирается в верхнюю полку, сидеть невозможно тоже – мешает столик, сияющий в предвкушении пирожков и холодных куриц.

До поезда я часа полтора бродил по вокзалу. Посидел в зале ожидания, пялясь на мерцающее красным табло. Купил в дорогу сосисок и беляшей. Прозрачный пакет, проглотивший беляши, тут же покрылся стыдливой матовостью. Съел в буфете рыбную котлету, поданную на убогой бумажной тарелке. Дела окончились, а времени ещё было предостаточно. Вернувшись в зал ожидания, я почувствовал, как моя решимость убывает. Достаточно было исключить ощущение праздника и новизны. Примелькавшийся вокзал. Холодная котлета... Опять же, эта тарелка с пятнами холодного рыбьего жира. К счастью, подали поезд...

Маленькое моё жилище, не наполненное пока жильцами. Я скинул куртку, убрал под сиденье сумку. Поставил в угол гитару. Неуклюже сел. Взглянул в окно, и вдруг снова нахлынуло... Да я же в Питере! Я «минус два дня» в Питере! Я уже не в М-ске, не в Краснодаре, меня с ними уже разделяет то самое окно, которое будет со мной в рассказанном другими, поэтому заочно знакомом городе. И я увижу то, что в свои двадцать шесть я по какой-то скверной причине не догадывался посмотреть раньше. Я ждал чудес, не выходя из квартиры! Я ждал, что чудеса толпой будут ломиться в мою дверь без приглашения, зная, однако, что даже Иванушка-дурачок утруждал себя хождениями за чудом! «Стихи на месте сидеть не любят», – вспомнил я слова Осиною родственника и даже покраснел от этой простой формулировки, которую я, к своему стыду, не смог понять раньше.

Вагон заполнялся. Это было не только видно, но и слышно: стуки, скрипы, покашливания, негромкие приветствия попутчиков создавали шумовой фон к происходящему. Мои же соседи не спешили заполнять свою клетку. Потом всё же появились. Тяжёлая женщина с пацанёнком – молодая бабушка и седой мужичок с огромным, несовременным рюкзаком, сразу представившийся Степаном. Я на всякий случай загадывал молодость женского пола... Не случилось.

Женщина с пацаном шумно раскладывались. Она пыхтела, напоминая чем-то капустный кочан, варившийся в тесной кастрюле. Шумно дышала, прикрикивая на паренька: «Валерка, Валерка»... Валерка же делал всё, что она попросит, по-взрослому при этом закатывая глаза. Я так увлёкся их совместной жизнью, что не заметил, как поезд тронулся. И вздрогнул, когда, утвердившись на сиденье, Валеркина бабка угрюмо подтвердила:

– Всё, Валерка, поехали...

И мне показалось, что бабка обращает эти слова ко мне.

Молчали до тех пор, пока не въехали в сумерки. Сумерки стали каким-то сигналом к действию. К знакомству. До этого я не решался даже выйти курить, боясь обеспокоить Степана. Валеркина бабка, копошась в бесчисленных сумках, достала бутерброды, сходила за кипятком. Степан резал маленьким ножичком розоватое сало на тонкие, подрагивающие лепестки.

– Ох, как я люблю таких Валерок, – улыбался он между тем в седые усы и протягивал пацану прилипающие к толстым пальцам кусочки. Протягивал и резал ещё.

– Валерка, хлеба-то возьми, – по-домашнему, не зло одёргивала Валерку бабка, а он, очередной раз закатив глаза, отправлял вслед за салом обломки крошащегося белого хлеба, лежавшего на столе. И был доволен.

– Вы позволите? – Степан нагнулся и извлёк из рюкзака флягу. Прикормленный Валерка был как бы гарантом бабкиной благосклонности. Хитрый Степан!

Бабка весело махнула рукой и громко отхлебнула чаю.

В руке Степана появились металлические рюмочки.

– Держи, – без предисловия обратился он ко мне.

– Спасибо, – согласился я, принимая рюмки и стучая ими об стол, как шахматными фигурами.

Он нацедил понемногу в каждую, запахло коньяком. Степан не производил впечатление зависимого человека, с ним я мог позволить себе расслабиться. К тому же, поднимая рюмочку, я ощутил, что наполнена она едва ли наполовину – Степан показался мне чуть ли не гурманом. Это соображение укрепились, когда мой попутчик отыскал в кармане неровно наломанную, уже начатую и завернутую в фольгу плитку шоколада.

Терпкий и ароматный коньяк интригуяюще смочил горло. Я молча отломил шоколаду.

– Валерка, держи... – продолжал фокусничать Степан, протягивая мальчику огромное, почему-то в хлебных крошках яблоко.

– Валерка, скажи спасибо, – усердствовала бабка, и Валерка снисходительно бросал требуемое «пасибо».

Я всё ждал, когда Степан спросит о чём-нибудь меня. Куда я и зачем? Но Степан всё не спрашивал, подливал по чуть-чуть и вёл задушевный разговор с разомлевшей от внимания бабкой. Горячие капли коньяка то и дело падали в желудок, от них было тепло и неторопливо. Тетрадная клетка становилась уютной, а поезд, наполненный клетками, как улей сотами, держал верный курс в ночь и север...

В оконном проёме блестело солнце. Я чувствовал это даже сквозь закрытые глаза. Я повернулся на спину, натянув повыше жидкое одеяло. Потом вспомнил, где я, и резко сел на моей лавке.

Мои соседи уже проснулись. Бабка, натянувшая совершенно домашний халат, снова прихлёбывала чай, и мне казалось, будто она продолжает тот бездонный стакан, что начала ещё накануне. Валерка жевал яблоко, и состояние дежавю удвоилось.

– Степан умыться ушёл, – пояснила бабка, поймав мой взгляд на верхнюю полку.

Накануне Степан меня приятно удивил. Он до полуночи беседовал с разговорчивой бабкой на жизненно важные, как предполагала бабка, темы, как то: консервирование огурцов и воспитание внуков или же наоборот – воспитание огурцов и консервирование... Степану было всё равно. Он был ровно доброжелателен и деликатен. Я, умасленный коньяком и ушатанный предыдущей ночью, ночью нервной, молчал, почти дремал под их неторопливые, снотворные беседы. А потом вдруг спросил:

– Вы извините меня за моё молчание? – с некоторым даже подобострастием спросил. Чтобы как-то обозначить благодарность.

– Ну-ну, – он сделал ладонью успокаивающий жест. – Захочешь – тогда и расскажешь...

И опять деликатно вернулся к бабке, наливая нам по пятой и, как оказалось, последней рюмочке.

Степан возвращался по проходу, сияя, как после бани. Розовое полотенце лежало на плече. В руках – мешочек с туалетными принадлежностями, электробритва. Редкая влажная седина зачёсана на пробор.

– А-а, Серёжа! Бодрое утро! – мило переставил буквы в приветствии.

– Бодрое, – нашёлся я.

Скатав постель, я тоже полез за зубной щёткой... Прошёл Степановым путём, наталкиваясь на торчащие из-под одеял ноги. Переждал в тамбуре небольшую очередь, совершив несвойственное мне курение до завтрака.

Когда я вернулся, мои спутники завтракали. Степан пригласительно отодвинулся, пропуская меня к окну.

– Приятного аппетита, – произнёс я, присаживаясь.

– Угощайтесь, – отреагировал Валерка, протягивая мне мятую плюшку.

– Держи, я ещё за одним схожу, – Степан протянул мне запотевший стакан с пакетиком чая. Кипяток медленно окрашивался красным.

– Сахар я положил.

– Серёжа, в шахматы играешь? – спросил меня Степан, когда молчаливое поглощение пищи вдруг стало в тягость.

В шахматы я играл плохо. Для меня эта игра была слишком медленной. Вместо того чтобы в ожидании хода соперника продумывать следующий свой, я начинал скучать. Но видя, как Степан хочет развлечь, растормошить всех нас, я ответил:

– Попробуем.

Степан выставил на стол коробочку карманных шахмат. Придерживая рукой, высыпал на стол мёртвые пока, лишённые жизненного пространства, крошечные фигурки. Стал быстро-быстро втыкать их в дырочки в шахматной доске. Оставив две фигурки, зажал их в кулаках, предлагая мне разыграть начало. Я знал, что мне достанутся чёрные, и, как всегда, ошибся.

– Поехали, – скомандовал Степан, и я был вынужден сделать быстрый ход. В темпе его действий.

Играл он действительно быстро. И, к сожалению, так же качественно. Пробил мои защитные редуты слоновыми диагоналями, утянул ладью, поставив наконец многолюдный мат. Фигуры ещё и не успели толком отведать друг друга.

– Ещё раз? – задал быстрый вопрос и легонько перевернул доску, заставив играть чёрными.

– Чего ты боишься? – спрашивал он меня, снова посылая слона через всё поле. – Играй! Атакуй!

Я же отбивался, как мог, пытаюсь сохранить линию фронта, которую он всё-таки взломал конём.

– Стоп, – его рука зависла над шахматным полем. – Смотри!

Он немного потыкал моими фигурами, поясняя:

– Делаешь рокировку. Мой слон под боем? Вот! Теперь вилка. Раз. Два. И три. Мат! – фигурки, ведомые чужим военачальником, почувствовали себя победителями.

– Смелее, Серёжа! Тебе не хватает авантюризма! Сунь ты её так, чтобы мне страшно стало! – он извлек ладью из своей ячейки, демонстрируя мне доказательство моей пораженческой тактики. И я – я кротко это доказательство принимал.

Я не мог согласиться со Степаном вслух. Он, сам не желая того, стыдил меня, притом очень просто и точно. Очень трудно найти подходящие слова, когда тебя стыдят не за игру, а за жизнь.

Днём я читал Куприна. К вечеру понял, что мы приближаемся к северу.

Снег, прерывающийся только редкими полосами дорог и звенящими шлагбаумами, проткнутый веточками кустов, лежал на многие часы и километры.

Степан дремал, изредка поворачиваясь на бок и вглядываясь в снег и темноту. Тогда мне была видна одна его белая, в узелках вен, ступня и закатанная выше колена тренировочная штанина. Бабка вязала. Валерка с умным видом утюжил глазами детские кроссворды и при этом до треска грыз карандаш.

Я изредка выходил курить. В тамбуре произошло похолодание – такое, когда я, оформившись в телогрейку, выбегаю в ближайший магазин за сигаретами, остальные визиты откладывая на потепление. И мне стало не по себе, оттого что в Питере придётся облачаться именно в эту, несообразную месту одежду.

Наша утренняя дружба со Степаном как-то расстроилась. Возможно, он ожидал от меня большего. Может быть, подгитарных песен? Вместо этого я демонстративно принялся за книжку. Он же не знал, что я стесняюсь своего голоса!

Они уже улеглись, а я долго и мучительно сидел даже тогда, когда в вагоне погасили свет. Я вглядывался в нескончаемый снег, очеловеченный здесь какими-то темноглазыми домиками, и мне ничуть не хотелось предстоящих подвигов. Мне хотелось поселиться в этом снегу, иметь избу и пса с круглыми карими глазами и седой бородатой мордой... И писать только письма. Добрые, длинные письма.

Я раскатал постель, разделся и лёг, закрыв глаза... Я ехал один, совсем один, ехал доказывать что-то незначительное, но своё, и не миру даже, а в первую очередь себе... Так пусть же добрые письма подождут! «Сделай ещё больней! Тогда хорошо будет!»

– Минус двадцать три, – довольный добытой где-то информацией Степан потирал руки, показывая, наверно, как это холодно. До Питера оставалось два часа. Мы уже были где-то в его, Питера, области. И стали чаще встречаться звенящие шлагбаумы, ждущие, окутанные морозным паром автомобили, укорачивались перегоны... Столбы, домики, сугробы были окрашены в морозный розовый цвет, и тени от всего этого были сиреневыми.

Мне представлялось прибытие. Нарисованная сознанием картинка была столь неоспорима, что я поверил в неё, как если бы видел всё это когда-то давно. Вот на подъезде к городу мы пересекаем Неву, где островком вдалеке дрейфует Петропавловская крепость, и только после этого въезжаем в город.

Вот уже остаётся час, ещё меньше, а законная архитектура всё больше и явственней напоминает мне краснодарские новостройки...

На деле из огромных заводских труб валят огромные хвосты дымов. В глубоком, свежесголубом небе хорошо видны дорожки, оставляемые самолётами... Сами самолёты – схематичные стрелочки на небесной карте. Блеснула и исчезла какая-то канава с неровными берегами. Бетонные стены с обеих сторон. Поезд замедляет ход до полной остановки. За окном – перрон. Впереди – здание Московского вокзала.

Я мечтал об этом – теперь я это видел!

Степан не торопится – он оказался местным, он приехал домой. А я даже не спросил у него... Много чего я не спросил! А, ладно, узнаю сам! Всё узнаю... Я слишком торопливо попрощался с попутчиками и, уже попрощавшийся, глупо сидел с ними рядом. Потом всё-таки подхватил сумку, гитару и стал продвигаться к выходу.

Слишком много света и снега. Свет, отражённый от снега, ударил по глазам. Мороз тут же склеил ноздри. Сделав несколько шагов к вокзалу, я уже дрожал – надеть телогрейку сразу я всё же не решился.

А внутри – внутри было горячо и широко, так что даже дышать сделалось трудно.

Я шёл в сторону вокзала, прислушиваясь к каждому шагу, проверяя его твёрдость на благословенной земле города, о котором мечтал...

Чуть скрипел утопанный снег. Ближе к вокзалу снег превращался в ледяную кашу. У самого вокзала поработали дворники – снег уступал место голому асфальту. Из дверей вокзала веяло теплом и пахло резиной...

Я вошёл внутрь. Прямоугольный зал с чьим-то бюстом посередине. Такие же, как и везде, копошащиеся люди, не наделенные никакими отличительными чертами петербуржцев. Бюст мне удалось идентифицировать быстро – чей же бюст нужно в Питере увидеть первым. Да и глаза навывкате... Да и кудри не спутаешь...

Я поставил вещи. Осмотрелся. И понял, что в Питере мне в первую очередь хочется...
есть.

Другие квартиры

Я не люблю, когда меня называют «Серый». Серыми бывают только волки и ничтожества. Так же, как косыми – зайцы и дожди... Ещё вот почему: Серый – какой-то никакой! Ни белый, ни чёрный, а так... Среди моих м-ских друзей Серым меня не называл никто, и это происходило отнюдь не по моей просьбе. Хочется надеяться, что я просто не был серым.

В другом городе этого статуса я пока не достиг.

Первый же звонок, который я сделал, вышел удачей. На вокзале я, отыскав телефонные автоматы, намеревался захватить их надолго, для чего наменял в кассе кучу мелочи. Раскрыл записную книжку. Первым в списке питерцев стоял Коротаев Паша. Его в Сочах я запомнил сразу: замороченный на сложных аранжировках гитарист «Люлякей Бяк». «ЛюлякиБяков»? О происхождении названия я уже упоминал. Черноволосый и полноватый, с нездорового цвета кожей. На сцене он козырял не только приличным знанием инструмента, но и длиннющим кожаным гитарным ремнём. На этом ремне гитара свисала чуть ли не до коленей, что обычно свойственно «металлюгам»... Он – нет, «металлюгой» не был и инструментом овладевал с некоторой даже нежностью. Гитара отвечала взаимностью в виде высоких, завывающих трелей в районе лада 12-ого и выше... Кстати, он почти не пил там, в Сочах... И почти не смеялся, что казалось признаком ума на фоне общего безумия. Эти качества служили в моих глазах ещё и признаком его надёжности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.